

ISSN 0131-6117

Русь -

R U S S I A N

Сказья

S P E E C H

речь

2023



МАЙ – ИЮНЬ



ISSN 0131-6117

Рус-
RUSSIAN
СРЯЯ
SPEECH
речь

МОСКВА, 2023

8

МАЙ – ИЮНЬ



Журнал основан в январе 1967 года

Выходит 6 раз в год

Главный редактор:

А. Д. Шмелев д. ф. н., проф., член-корр. РАН, Московский педагогический государственный университет;
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Зам. главного редактора:

М. Л. Каленчук д. ф. н., член-корр. РАО, проф., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Е. Я. Шмелева к. ф. н., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Редколлегия:

О. В. Антонова к. ф. н., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Е. Л. Березович д. ф. н., член-корр. РАН, проф., Уральский федеральный университет
А. А. Гиппиус д. ф. н., академик РАН, проф., Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»; Институт славяноведения РАН
М. Горэм PhD, проф., Флоридский университет, США
В. В. Дементьев д. ф. н., проф., Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского
Е. Е. Дмитриева д. ф. н., член-корр. РАН, проф., Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН
А. Ф. Журавлев д. ф. н., проф., Институт славяноведения РАН; Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
А. В. Занадворова к. ф. н., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
А. А. Кибрик д. ф. н., проф., Институт языкознания РАН; Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
Ю. А. Клейнер д. ф. н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет
А. М. Красовицкий PhD, Оксфордский университет, Великобритания
М. А. Кронгауз д. ф. н., проф., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Д. М. Магомедова д. ф. н., проф., Российский государственный гуманитарный университет
В. И. Новиков д. ф. н., проф., Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
М. А. Осадчий д. ф. н., проф., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
М. С. Полинская PhD, проф., Мэрилендский университет, США
Е. Ю. Протасова PhD, проф., Хельсинкский университет, Финляндия
М. А. Пузина к. ф. н., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Х. Пфандль Dr. phil., проф., Грацский университет, Австрия
Л. Рязанова-Кларк PhD, проф., Эдинбургский университет, Великобритания
А. А. Соколянский д. ф. н., проф., Северо-Восточный государственный университет

Зав. редакцией: О. В. Антонова
Зав. отделами: А. В. Занадворова, М. А. Пузина

Статьи отбираются редколлегией
журнала на основе анонимного
независимого рецензирования.

Журнал индексируется в: Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).

Адрес редакции: 119019, Москва,
ул. Волхонка, 18/2, Институт русского
языка им. В. В. Виноградова РАН,
редакция журнала «Русская речь»
Телефон: +7 495 637-27-35
E-mail: rus-rech@mail.ru
Сайт: <http://russkayarech.ru/>

© Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН
© Государственный институт
русского языка им. А. С. Пушкина
© Российская академия наук
© Составление. Редколлегия журнала
«Русская речь», 2023

ISSN 0131-6117

Russian RUSSKAYA Speech RECH'

MOSCOW, 2023



MAY-JUNE

Founded in January 1967

6 issues per year

Editor-in-chief:

Alexei D. Shmelev Moscow State University of Education; Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Assistant editors:

Maria L. Kalenchuk Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Elena Ya. Shmeleva Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Editorial board:

Olga V. Antonova Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Elena L. Berezovich Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Vadim V. Dementyev Saratov State University, Saratov, Russia
Evgeniya E. Dmitrieva M. A. Gorky Institute of World Literature (RAS), Moscow, Russia
Alexei A. Gippius National Research University Higher School of Economics; Institute of Slavic Studies (RAS), Moscow, Russia
Michael Gorham University of Florida, Gainesville, USA
Andrey A. Kibrik Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia; Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Yury A. Kleiner St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Alexander M. Krasovitsky University of Oxford, UK
Maxim A. Kronhaus National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Dina M. Magomedova Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia
Vladimir I. Novikov Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Mikhail A. Osadchiy Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Heinrich Pfandl University of Graz, Austria
Maria Polinsky University of Maryland, College Park, USA
Ekaterina Y. Protassova University of Helsinki, Finland
Maria A. Puzina Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Larissa Ryazanova-Clarke University of Edinburgh, UK
Alexander A. Sokolyansky North-Eastern State University, Magadan, Russia
Anna V. Znadvorova Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Anatoly F. Zhuravlev Institute of Slavic Studies (RAS); Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Managing editor: Olga V. Antonova
Editorial staff: Anna V. Znadvorova, Maria A. Puzina

Articles are selected by the editorial board on the basis of blind peer review process.

Abstracting / Indexing: Rossiiskii indeks nauchnogo tsitirovaniya (RINTS).

Address: «Russkaya rech'», editorial office, Vinogradov Russian Language Institute (RAS), Volkhonka street, 18/2, Moscow, 119019, Russia

Telephone: +7 495 637-27-35

E-mail: rus-rech@mail.ru

Website: <http://russkayarech.ru/>

Содержание

Проблемы современного русского языка

- 7..... *Д. М. Савинов.* О принципах составления нормативных словарей
русского литературного языка

Из истории русского языка

- 21..... *Я. Э. Ахапкина.* Забытая идиома со значением меры и степени
- 40..... *Е. В. Генералова.* Мужняя жена и диво дивное:
из истории плеонастических сочетаний в русском языке
- 55..... *А. А. Плетнева.* Имя шута: лубочные персонажи
Фарнос, Гонос и Ералаш
- 68..... *Т. С. Садова, Д. В. Руднев.* Рукоприкладство:
от 'собственноручной подписи' до 'нанесения побоев'

Язык художественной литературы

- 80..... *О. А. Лекманов.* Отец и его семья (Жанровое своеобразие
рассказа Л. Петрушевской «Новые Робинзоны», 1989)
- 87..... *О. В. Марына, И. Н. Островских.* Цитирование как прием рефлексии
в повести К. Д. Воробьева «Вот пришел великан...»
- 102..... *П. Успенский.* «Времена не выбирают...»: эскиз о доксе и парадоксах
Александра Кушнера (идиоматика и идеология)
- 117..... *О. А. Чуреева.* Трансмутация как инструмент интерпретации
драматического текста

Contents

Issues of Modern Russian Language

- 7..... *Dmitry M. Savinov*. On the Principles of Compiling Normative Dictionaries of Standard Russian Language

From the History of the Russian Language

- 21..... *Yana E. Akhapkina*. A Forgotten Idiom with the Meaning of Measure and Degree
- 40..... *Elena V. Generalova*. *Muzhnyaya Zhena* and *Divo Divnoe*: from the History of Pleonastic Combinations in Russian Language
- 55..... *Alexandra A. Pletneva*. Jester Names: Lubok Characters *Farnos*, *Gonos* and *Yeralash*
- 68..... *Tatyana S. Sadova*, *Dmitrii V. Rudnev*. *Rukoprikladstvo* ('Manhandling'): from 'Handwritten Signature' to 'Beating'

The Language of Fiction

- 80..... *Oleg A. Lekmanov*. Father and His Family (Genre Originality of L. Petrushevskaya's Story "The New Robinsons", 1989)
- 87..... *Ol'ga V. Mar'ina*, *Irina N. Ostrovskikh*. Quoting as a Reflection Technique in K. D. Vorobyov's Novella "Here Comes the Giant..."
- 102..... *Pavel Uspenskij*. "They Don't Choose the Times...": an Essay on Alexander Kushner's Doxa and Paradoxes (Idiomatics and Ideology)
- 117..... *Olga A. Chureyeva*. Transmutation as a Tool of Dramatic Text Interpretation

О принципах составления нормативных словарей русского литературного языка

Дмитрий Михайлович Савинов, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Россия, Москва), crillon@yandex.ru

DOI: 10.31857/S013161170026396-4

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основные принципы формирования словника словарей ортологического типа, к которым относятся орфографические, орфоэпические, грамматические словари, а также словари ударений и словари трудностей произношения. С одной стороны, словник подобных лексикографических источников должен содержать максимальное количество слов, нуждающихся в соответствующем комментарии, с другой — нормативный словарь может включать только те слова, которые получили статус литературной нормы. В последнее время в русской лексикографии наметилась тенденция включать в нормативные словари просторечную и жаргонную лексику, в результате в обществе постепенно начинает формироваться мнение о нормативности употребления этих слов в литературном языке в принципе. Однако это совершенно недопустимо: просторечные и жаргонные слова и их формы не могут быть объектом кодификации с точки зрения норм литературного языка. В статье также рассматривается вопрос о кодификации в орфоэпических словарях территориально обусловленных вариантов, характеризующих региональные разновидности русского литературного языка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская лексикография, словник, норма, литературный язык, просторечие, жаргон, диалектизм, региональный вариант литературного языка

для цитирования: Савинов Д. М. О принципах составления нормативных словарей русского литературного языка // Русская речь. 2023. № 3. С. 7–20. DOI: 10.31857/S013161170026396-4.

Issues of Modern Russian Language

On the Principles of Compiling Normative Dictionaries of Standard Russian Language

Dmitry M. Savinov, Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow), crillon@yandex.ru

ABSTRACT: The article discusses the basic principles of forming a glossary for orthological dictionaries, to which include spelling, orthoepic, grammatical dictionaries, as well as stress dictionaries and dictionaries of pronunciation difficulties. On the one hand, the glossary of such lexicographic sources should contain the maximum number of words that need an appropriate comment, on the other hand, a normative dictionary can include only those words that have received a status of a literary norm. There has been a tendency to include colloquial and jargon vocabulary in normative dictionaries in Russian lexicography. As a result, there has been formed an opinion about the normative use of these words in the standard language. However, this is completely unacceptable: since colloquial and slang vocabulary cannot be the object of codification from the point of view of the standard language. The article also discusses the issue of codification in orthoepic dictionaries of territorially determined variants characterizing the regional varieties of the Russian standard language.

KEYWORDS: Russian lexicography, vocabulary, norm, standard language, vernacular, jargon, dialectism, regional variant of the standard language

FOR CITATION: Savinov D. M. On the Principles of Compiling Normative Dictionaries of Standard Russian Language. Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 7–20. DOI: 10.31857/S013161170026396-4.

1. В последние десятилетия все более актуальными становятся исследования в области языковой политики, одной из основных сфер реализации которой является регулирование всех вопросов, связанных с культурой речи, в частности с кодификацией собственно языковых норм литературного варианта национального языка.

В этой связи особенно важную роль приобретает создание ортологических словарей¹, которые являются важным средством кодификации русской литературной нормы, прежде всего это орфографические, орфоэпические, грамматические словари, а также словари ударений и словари трудностей произношения, которые можно назвать разновидностями орфоэпических словарей. Принципы составления подобных нормативных словарей русского языка подробно описаны в научных статьях, а также в предисловиях к изданным лексикографическим источникам (подробнее см. [Иванова 2020: 433–435; Каленчук 2020: 444]).

Авторы отмечают, что те принципы, которые используются при создании толковых, фразеологических и других словарей, описывающих лексику русского языка в разных аспектах, не всегда применимы к словарям, ориентированным на фиксацию орфографических, орфоэпических и грамматических норм. Например, для орфоэпических словарей (в том числе для словарей ударений и словарей трудностей произношения) должен быть выработан особый принцип отбора слов: «Отбор должен производиться так, чтобы словарь максимально полно охватил слова, обладающие теми или иными особенностями внешней структуры», в частности, к этой группе относятся «слова всех частей речи с подвижным ударением», а также «слова, о произношении которых нельзя полностью судить на основании их орфографического облика, т. е. такие, которые нуждаются в произносительных пометах» [Еськова 1972: 126–127].

Формирование словника нормативных словарей — это один из самых важных и сложных этапов их создания. С одной стороны, словник должен содержать максимальное количество слов, нуждающихся в соответствующем комментарии, в том числе широко распространенные в узусе неологизмы, которые фиксируются в средствах массовой информации и интернете. С другой стороны, нормативный словарь может включать только слова, получившие статус литературной нормы. По словам К. С. Горбачевича, «нормативный словарь — это не хранилище слов; такой словарь отражает реальную лексическую систему литературного языка, являясь в то же время наиболее авторитетным законодателем правильного словоупотребления» [Горбачевич 1982: 80].

¹ Ортологические словари (от греч. *орθος* ‘правильный’ и *λόγος* ‘слово, учение’) — нормативные словари, фиксирующие в той или иной форме правильную литературную речь.

Иначе говоря, основу словника любого словаря ортологического типа традиционно составляет «лексика, не противоречащая системе и в своей ядерной части поддержанная нормой — это нейтральные, “чистые” и “правильные” слова... Массив такой лексики формирует ситуацию, которую можно обозначить утверждением “так говорят, и так говорить можно и нужно» [Скляревская 2017: 154].

2. Однако в последние десятилетия в русской лексикографии наметилась тенденция включать в нормативные словари просторечную и жаргонную лексику, что, по мнению некоторых ученых, «конечно, не бесспорно, однако в сегодняшней ситуации, по-видимому, имеет серьезный резон» [Осипов 2001: 126]. Например, за счет подобных нелитературных единиц существенно расширен словник «Русского орфографического словаря», в предисловии к которому авторы пишут: «Круг нарицательной лексики пополнен разнообразными новыми словами и выражениями, характерными для современной газетно-публицистической, разговорной речи, просторечия» [Лопатин, Иванова (ред.) 2012: V]. Однако при анализе словника выясняется, что в этот словарь включены не только новообразования или новые заимствования, но и значительный слой «устоявшейся» просторечной, сленговой, жаргонной лексики: *бух^ать, бух^ло, бух^ой, да^аден, -а, -о (к дан, дан^а, дан^о, от дать), ла^ажа, на^а фиг, на фиг^а, подда^атый, покла^асть, расей^аский, спок^аха, стака^ашек, харко^атина и мн. др.* Все эти ненормативные слова даются в словаре с пометой «сниженное».

Отмечается нелитературная лексика и в некоторых орфоэпических источниках. Так, в 10-м издании «Орфоэпического словаря русского языка» [Еськова (ред.) 2015] сказано, что «при интересных в формальном отношении словах, резко сниженных стилистически», даются стилистические пометы. «В настоящем издании количество пояснений, сопровождаемых стилистической оценкой слова, увеличено по сравнению с предыдущими изданиями» [Еськова (ред.) 2015: 7]. Но остается неясным, какая интересная с орфоэпической точки зрения информация есть у таких просторечных слов, как *бу^ркалы* ‘глаза’, *дер^ьмо*, *ды^мина* (из сочетания *в ды^мину пьяный*), *закочев^ряжиться*, *како^вский* ‘какой’, *мур^ло*, *нач^ахать*, *сты^рить*, *фиг^овый*, *ха^ря* и мн. др. Еще более странными кажутся орфоэпические предписания к словам *за^дница* [д^бн^б], *звездану^т* [з^бв^б, зв^б], *сбр^ендить* [н^бд^б], *шл^енда* (нормативно *шл^енде* [н^бд^б]), *фиг* (нормативно *ни фиг^а, на фиг, фи^ага с дв^а*), *хрен* (нормативно *ни хрен^а не вы^ишло*) и др.

В «Грамматическом словаре русского языка» А. А. Зализняка сказано: «Словарь имеет нормативную ориентацию, т. е. он указывает для отдельного слова не все реально встречающиеся способы образования его форм, а лишь те, которые соответствуют современной литературной норме». При этом в сноске автор уточняет, что исключение в этом смысле

«составляют формы, помеченные как просторечные... помета “просто-реч.” выступает в таких случаях в роли предупредительной» [Зализняк 2008: 9]. Однако некоторые просторечные и жаргонные слова (например *алка́ш, мурло́, ужó, фартóвый, хайло́, хамло́, хрыч* и др.) даются в словаре без всяких помет, что должно свидетельствовать о их принадлежности к лексике литературного языка.

Подобные нелитературные слова встречаются даже в школьных словарях. Так, в «Словаре грамматических трудностей русского языка», предназначенном для 5–11 классов, представлен просторечный глагол *вылазить* и перечисляются его «нормативные» формы: *выла́жу, выла́зишь, выла́зит* и т. д., а формы *выла́зию, выла́зишь* квалифицируются как «неправильные» [Гольберг, Иванов 2021: 92].

В «Словаре ударения и произношения слов русского языка», рассчитанном на учащихся 5–9 классов, отмечены просторечные слова *ве́дро, дебе́лый* (неправ. *дебёлый*), *дуба́сить, забубёный, шаба́ш* (в значении ‘хватит’). Как допустимые в разговорной речи квалифицируются варианты *до́говор* (мн. *догово́ра*), *графя́, страшо́н*. В словаре есть также сомнительные решения о придании отдельным произносительным вариантам статуса профессиональных, то есть в принципе допустимых в литературном языке: так, формы мн. ч. *блюда́, краны́, скоростя́*, а также варианты *возбу́жденный, осу́жденный, при́говор, катáлог, мы́шление* определяются И. Л. Резниченко как свойственные речи представителей некоторых профессий: поваров, менеджеров, сотрудников правоохранительных органов, библиотекарей и т. д. [Резниченко 2021]. Однако с этим трудно согласиться, большинство подобных «профессиональных» вариантов указывает не на принадлежность к определенной социально ограниченной группе, а «на низкий культурно-образовательный уровень человека» [Каленчук 2022: 66]. Иначе говоря, указанные варианты должны квалифицироваться не как профессиональные, а как просторечные, то есть недопустимые в речи носителей литературного языка (они и квалифицируются как «неправильные» в большинстве других орфоэпических источников).

Отмечается просторечная лексика и в школьных орфографических словарях, например в «Учебном орфографическом словаре русского языка» [Лопатин и др. 2005], предназначенном для учащихся школ, лицеев и вузов, подробнее см. [Николенкова 2011: 182–183].

Включение просторечной и жаргонной лексики, а также грамматических форм, характерных для просторечия или жаргонов, в ортологические словари в последние десятилетия теоретически обычно обосновывается изменением социальной и языковой ситуации в России: «Главной причиной переосмысления оснований нормы стала демократизация публичной и массовой коммуникации, массовое проникновение в эти

сферы общения носителей просторечия и социальных диалектов, что очевидным образом изменило узус публичного и массового общения, а также широкое распространение интернет-коммуникации, в которой контроль за реализацией нормы со стороны государства и общества ослаблен» [Ким 2014: 273–274]. Всё это приводит к размыванию грани между литературной разговорной речью и нелитературными формами (прежде всего просторечием и жаргонами), а разговорный и письменный узус различных слоев общества начинает выполнять функцию естественно-стихийного нормализатора речи и показателя «литературного» языка, что способствует люмпенизации языка.

Очевидно, что в нормативных словарях (а таковыми всегда являются орфографические, орфоэпические и грамматические словари) для просторечной, жаргонной, бранной и другой лексики, находящейся вне лексической системы литературного языка, не должно быть перечисления форм или вариантов произношения, для них не нужно формулировать правил правописания. Такие слова могут фиксироваться толковыми, фразеологическими или другими лексическими словарями, где они должны быть снабжены соответствующими стилистическими пометами и указанием на то, что в литературном языке эти слова не употребляются. Иначе говоря, в словарях ортологического типа не должно быть лексики, которую можно было бы обозначить утверждением «так говорят, так пишут, но так говорить и писать нельзя»; необходимо проводить четкое различие между литературной и нелитературной формами речи.

3. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о территориальных вариантах русского литературного языка и отражении подобных региональных особенностей в словарях ортологического типа. Как известно, литературный язык и диалекты — основные разновидности русского национального языка, противопоставленные друг другу по ряду важных признаков [Касаткин (ред.) 2012: 5–6]. Строго говоря, диалектизмы, то есть слова, используемые носителями территориального диалекта, не являются частью лексикона литературного языка, хотя и используются иногда в произведениях художественной литературы для стилизации. Некоторые диалектизмы также включаются составителями в нормативные словари: например, в орфоэпическом словаре [Еськова (ред.) 2015] с пометой «областное» отмечаются слова: *ергáк*, *закúт* (*закúта*), *зáметь*, *зеленя́*, *каля́ный*, *курёнок* и мн. др. В школьном словаре грамматических трудностей даны личные формы от диалектного глагола *заховать*²: *захováю*, *захováет* [Гольберг, Иванов 2021: 96]. Есть диалектизмы и в некоторых

² В данном словаре слово *захováть* снабжено пометой «разговорно-сниженное», однако это ошибка: приведенный глагол отсутствует в большинстве толковых словарей русского языка, но представлен в «Словаре русских народных говоров» [Филин (ред.) 1976: 155].

других словарях ортологического типа, хотя диалектная лексика так же, как просторечная и жаргонная, не должна становиться объектом кодификации с точки зрения норм литературного языка.

Однако русский литературный язык на всей территории своего распространения испытывает постоянное влияние местных говоров, что приводит к появлению его локально (регионально) окрашенных вариантов, имеющих некоторые фонетические, акцентологические, интонационные и лексические особенности. Так, в речи носителей русского литературного языка севера России фиксируются рефлексy оканья (произношение гласного [э] в позиции 1-го предударного слога), еканье, твердость губных на конце слова (*се[м]*, *во́се[м]*); для юго-западного варианта русского литературного языка характерно сохранение диссимилятивного аканья (*тp[э]-ва́*, *тp[a]вы́*), произношение [γ], имеющего глухую пару [х] (*сне[х]*, *снэ́[γ]а*), употребление палатальных [с''] и [з''] ([с'']*е́рый*, [з'']*е́мля*); сохраняются в речи городской интеллигенции и некоторые местные слова, подробнее см. [Букринская, Кармакова 2012: 157–158].

Проникают в региональные варианты русского литературного языка и диалектные акцентологические особенности. Например, для северо-западной диалектной зоны, а также для северной части юго-западной диалектной зоны характерно распространение форм с ударением на основе глаголов прошедшего времени женского рода: *бра́ла*, *зва́ла*, *тка́ла*, *вра́ла*, *спа́ла* и под. [Захарова, Орлова 1970: 90, 102]. На карте 1³ показано, что наосновное ударение в формах женского рода прошедшего времени в глаголах с исконно двусложным корнем (типа *бра́ла*, *вра́ла*, *спа́ла* и т. п.) характеризует весь западный ареал русского языка — от Петрозаводска на севере до Белгорода на юге; важно отметить, что эта акцентологическая особенность отмечается не только в диалектном узусе, но и в речи местной городской интеллигенции [Букринская, Кармакова 2012: 160].

Таким образом, неподвижное наосновное ударение в формах прошедшего времени некоторых глаголов (*брал*, *бра́ла*, *бра́ло*, *бра́ли*) можно считать чертой, присущей западному региональному варианту русского литературного языка, в частности говору Санкт-Петербурга. Так, петербургский фонетист В. В. Колесов пишет о широком процессе «выравнивания ударений в парадигме типа *брал*, *бра́ло*, *бра́ла*, *бра́ли* (на месте старой и до сих пор нормативной формы *брала́*), также *да́ла*, *зва́ла* и др. Такое колебание ударения встречается особенно сильное сопротивление со стороны специалистов по культуре речи...» [Колесов 2010: 297].

Однако московский фонетист Р. Ф. Касаткина пишет о том, что варианты произношения типа *бра́ла* не характерны для узуса москвичей —

³ Карты 1 и 2 составлены на основе сводной карты «Место ударения у существительных и глаголов», подготовленной А. В. Тер-Аванесовой и опубликованной в [Касаткин (ред.) 2012: 160].



	Ударение на корне в форме ж. р. прош. вр. глаголов типа <i>дать, пить, начать, взять</i>: <i>да́ла, пи́ла, нача́ла, взя́ла</i> Root stress in the feminine past tense of verbs like <i>dat', pit', nachat', vzyat'</i>: <i>dála, píla, nachála, vzyála</i>
	Ударение на суффиксе в форме ж. р. прош. вр. глаголов типа <i>братъ, вратъ, ткать, спать</i>: <i>бра́ла, вра́ла, тка́ла, спа́ла</i> Suffix stress in the feminine past tense of verbs like <i>brat', vrat', tkat', spat'</i>: <i>brála, vrála, tkála, spála</i>

носителей русского литературного языка: «В наших материалах случаи наосновного⁴ ударения в формах женского рода в речи лиц, говорящих на литературном языке, не зафиксированы» [Касаткина 2008: 380]. В московском варианте литературного языка в парадигме указанных глаголов

⁴ В статье Р. Ф. Касаткиной написано «нафлексивного», что в общем контексте рассуждений должно трактоваться как опечатка.

развивается другая тенденция, в результате которой формируется акцентное противопоставление единственного и множественного числа: в ж. и ср. р. ед. ч. ударение падает на флексию, во мн. ч. — на основу (*бралá, бралó — бра́ли*) [Каленчук, Савинов (ред.) 2021: 75]. Именно поэтому акцентные варианты *бра́ла, да́ла, за́ла* и под., приведенные В. В. Колесовым, и сегодня признаются московскими кодификаторами неправильными.

Существует и третья возможность изменения ударения в этих глагольных формах. По данным А. С. Бабаниной, для регионального варианта современного русского языка на Нижнем Поднепровье (Днепропетровская, Запорожская и Херсонская обл.) характерна следующая особенность: «Сохранение ударения на основе глагола в формах единственного числа женского и среднего рода прошедшего времени: *взял — взы́ла, взы́ло, дал — да́ла, да́ло, брал — бра́ла, бра́ло, по́нял — по́няла*; переход ударения на глагольную флексию в формах множественного числа: *взял — взы́ли, дал — дали́, брал — бра́ли, по́нял — поня́ли*» [Бабанина 2016: 49].

Таким образом, в западном варианте русского литературного языка в этих глагольных формах происходит выравнивание ударения на основе *брал, бра́ло, бра́ла, бра́ли*, а в восточном и нижнеподнепровском вариантах в парадигме указанных глаголов развивается другая тенденция, в результате которой формируется акцентное противопоставление единственного и множественного числа: в восточном варианте в ж. и ср. р. ед. ч. ударение падает на флексию, во мн. ч. — на основу (*бралá, бралó — бра́ли*), в нижнеподнепровском варианте — наоборот: в ж. и ср. р. ед. ч. ударение падает на основу, а во мн. ч. — на флексию (*бра́ла и бра́ло — бра́ли*).

Особо следует отметить, что многие изменения, происходящие в русской акцентуации, не спонтанны, а подчиняются определенным законам развития языковой системы. Например, у имен существительных появление акцентных инноваций может быть обусловлено актуализацией противопоставления по числу: на смену старым акцентным парадигмам типа *доска́, доскí, до́ску, до́ски, доска́м* или *волна́, волнý, во́лны, волна́м* постепенно приходят новые, где формы ед. и мн. ч. начинают последовательно противопоставляться ударением: *доска́, доскí, доску́* и *волна́, волнý, волну́ — до́ски, до́скам и во́лны, во́лнам*.

Однако в ряде говоров тенденция выравнивания акцентной парадигмы у подобных существительных в единственном числе развивается еще более последовательно: так, для юго-западной диалектной зоны характерно склонение «существительных с подвижным ударением типа *рука́, боронá* с ударением на окончании: *рука́, руки́, руке́, руку́...*» [Захарова, Орлова 1970: 100]. На карте 2 показан диалектный ареал этого явления; подобное произношение также проникает и в узус местной интеллигенции. Так, по данным В. О. Кузнецова, для речи жителей Брянска характерны



Ударение на окончании в форме вин. п. ед. ч. существительных 1-го скл. типа *голова, нога, рука*: *голову́, ногу́, руку́*
Flexion stress in the accusative singular nouns of the 1st declension like *golova, noga, ruka*: *golovú, nogú, rukú*

«формы вин. п. ед. ч. с ударением на окончании у существительных ж. р. типа *руку́*» [Кузнецов 2012: 93].

Видимо, существуют и другие региональные акцентные особенности, в том числе в русских региолектах, распространенных на территории различных национальных республик и других стран. В коллективной монографии «Георусистика» А. Н. Рудяков писал: «К сожалению, мы до обидного мало знаем о том, что из себя представляют “неосновные” национальные варианты русского языка: каковы основные направления их варьирования, какова мера или глубина варьирования... Конечно, вечные стоны о “порче” русского языка, страстные призывы встать на его защиту... с точки зрения обретения популярности более привлекательны.

К сожалению, они имеют мало общего с реальностью и недопустимы в серьезном языковедческом обиходе» [Рудяков 2010: 13–14].

Безусловно, в орфоэпических словарях академического типа необходимо учитывать территориально обусловленные акцентологические варианты, характеризующие узус местной городской интеллигенции, подобное произношение может быть кодифицировано с пометой «допустимо в речи жителей определенного региона». Несмотря на то что изучение локально окрашенной литературной речи имеет давнюю традицию, ведущую начало от А. А. Шахматова, а сами территориальные варианты русского литературного языка являются источником бесценной информации, до сих пор отсутствуют масштабные социолингвистические исследования, описывающие функционирование современного русского языка в различных регионах России и выявляющие особенности и закономерности этого функционирования. Именно отсутствие системно собранного фактического материала обуславливает отказ от кодификации подобных акцентологических вариантов в современных словарях.

4. В заключение необходимо подчеркнуть, что включение в нормативные словари русского литературного языка просторечной и жаргонной лексики, а также грамматических форм, характерных для просторечия или жаргонов, приводит к тому, что у многих читателей, не имеющих достаточной лингвистической компетенции, складывается ложное впечатление о нормативности употребления подобных слов и их форм в литературном языке в принципе. Узнав, как академические словари рекомендуют произносить и писать эти слова, а также их формы, некоторые пользователи данных лексикографических источников воспримут это как руководство к действию. В результате формируется ситуация, которую можно обозначить утверждением: «так говорят в определенных социальных стратах и группах, но теперь так можно и даже нужно говорить везде». Это совершенно недопустимо, поскольку просторечная и жаргонная лексика находится за пределами литературной нормы: нужно избегать ее употребления как в письменной, так и в устной речи. Очевидно, что в словари ортологического типа подобная нелитературная лексика включаться не может: обязательно должно сохраняться четкое различие между литературной и нелитературной формами речи.

Источники

Гольберг И. М., Иванов С. В. Словарь грамматических трудностей русского языка (5–11 классы). Москва: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2021. 176 с.

Еськова (ред.) 2015 — С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамма-

тические формы, изд. 10-е, испр. и доп. / Под ред. Н. А. Еськовой. М.: АСТ, 2015. 1008 с.

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. 6-е изд., стер. М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. 800 с.

Лопатин, Иванова (ред.) 2012 — О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. Русский орфографический словарь. 4-е изд., исправ. и доп. / Отв. ред. О. Е. Иванова, В. В. Лопатин. М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 896 с.

Лопатин и др. 2006 — В. В. Лопатин, О. Е. Иванова, Ю. А. Сафонова. Учебный орфографический словарь русского языка. Нормативное написание лексики русского языка конца XX — начала XXI века. М.: Эксмо, 2005. 1184 с.

Резниченко И. Л. Словарь ударения и произношения слов русского языка (5–9 классы). М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2021. 368 с.

Филин (ред.) 1976 — Н. И. Андреева-Васина, Л. И. Балахонова, О. Д. Кузнецова, П. И. Павленко, О. Г. Порохова, Е. Н. Этерлей. Словарь русских народных говоров. Вып. 11 / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л.: Наука, 1976. 363 с.

Литература

Бабанина А. С. Лингвистические особенности нижнеднепровского региолекта современного русского языка // Перспективы интеграции науки и практики. 2016. № 3. С. 43–49.

Букринская И. А., Кармакова О. Е. Языковая ситуация в малых городах России // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15: Особенности сосуществования диалектной и литературной форм языка в славяноязычной среде / Отв. ред. Л. Э. Калнынь. М., 2012. С. 153–164.

Горбачевич К. С. Современная нормативная лексикография // Вестник АН СССР. 1982. № 1. С. 77–86.

Еськова Н. А. О принципах составления русского нормативного словаря орфоэпического типа // Вопросы языкознания. 1972. № 3. С. 123–134.

Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. М.: Просвещение, 1970. 168 с.

Иванова О. Е. Орфографические словари // Русский язык: энциклопедия, 3-е изд., исправ. и доп. / Гл. ред. А. М. Молдован. М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. С. 433–435.

Каленчук М. Л. Орфоэпические словари // Русский язык: энциклопедия, 3-е изд., исправ. и доп. / Гл. ред. А. М. Молдован. М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. С. 444.

Каленчук М. Л. Профессиональные произносительные варианты: мифы и реальность // Русская речь. 2022. № 6. С. 63–70.

Каленчук М. Л., Савинов Д. М. (ред.). Норма произношения в узусе и кодификации. М.: ИРЯ РАН, 2021. 248 с.

- Касаткин Л. Л. (ред.). Русская диалектология. 3-е изд., исправ. и доп. М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. 304 с.
- Касаткина Р. Ф. Изменения в просодической системе русского литературного языка // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков / Отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 375–398.
- Ким И. Е. Ортология // Эффективное речевое общение (базовые компетенции). Словарь-справочник. Электронное издание / Под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск, 2014. С. 373–374.
- Колесов В. В. Русская акцентология. Т. II. СПб., 2010. 524 с.
- Кузнецов В. О. Виды идиолектов в современном городе (на материале языковой ситуации в Брянске) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2012. № 2. С. 90–98.
- Николенкова Н. В. Орфографический словарь и кодификация современной нормы: проблемы несогласованности // Вопросы культуры речи. Т. 10. М., 2011. С. 180–185.
- Осипов Б. И. Рец. на: Русский орфографический словарь / Сост. Б. З. Букчина, О. Е. Иванова, С. М. Кузьмина, В. В. Лопатин, Л. К. Чельцова. Отв. ред. В. В. Лопатин. М.: Азбуковник, 1999. XVIII + 1262 с. // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 126–128.
- Рудяков А. Н. (ред.). Георусистика: Первое приближение. Симферополь, 2010. 152 с.
- Скляревская Г. Н. «Так не говорят», или еще раз о системе, норме и узусе (взгляд лексикографа) // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2017. № 13. С. 153–159.

References

- Babanina A. S. [Linguistic features of the Lower Dnieper region of the modern Russian language]. *Perspektivy integratsii nauki i praktiki*, 2016, no. 3, pp. 43–49.
- Bukrinskaya I. A., Karmakova O. E. [The linguistic situation in small towns of Russia]. *Issledovaniya po slavyanskoi dialektologii* [Studies in Slavic dialectology]. Vyp. 15: Osobennosti sosushchestvovaniya dialektnoi i literaturnoi form yazyka v slavyanoyazychnoi srede / Ed. L. E. Kalnyn'. Moscow, 2012, pp. 153–164.
- Es'kova N. A. [On the principles of compiling a Russian normative dictionary of orthoepic type]. *Voprosy yazykoznaniya*, 1972, no. 3, pp. 123–134.
- Gorbachevich K. S. [Modern normative lexicography]. *Vestnik AN SSSR*, 1982, no. 1, pp. 77–86.
- Ivanova O. E. [Spelling dictionaries]. *Russkij yazyk: enciklopediya* [Russian language: Encyclopedia]. 3rd ed. / Ed. A. M. Moldovan. Moscow, AST-PRESS SHKOLA, 2020, pp. 433–435.
- Kalenchuk M. L. [Orthoepic dictionaries]. *Russkij yazyk: enciklopediya* [Russian language: Encyclopedia]. 3rd ed. / Ed. A. M. Moldovan. Moscow, AST-PRESS SHKOLA, 2020, p. 444.
- Kalenchuk M. L. Professional pronunciation variants: myths and reality. *Russkaya Rech'*, 2022, no. 6, pp. 63–70.

- Kalenchuk M. L., Savinov D. M. (ed.). *Norma proiznosheniya v uzuse i kodifikatsii* [The norm of pronunciation in using and codification]. Moscow, IRYA RAN, 2021. 248 p.
- Kasatkin L. L. (ed.). *Russkaia dialektologiya* [Russian dialectology]. 3rd ed. Moscow, AST-Press, 2013. 304 p.
- Kasatkina R. F. [Changes in the prosodic system of the Russian standard language]. *Sovremennyi russkii yazyk: Aktivnye protsessy na rubezhe XX–XXI vekov* [Modern Russian language: Active processes at the turn of the XX–XXI centuries] / Ed. L. P. Krysin. Moscow, Yazyki Slavianskikh Kul'tur, 2008, pp. 375–398.
- Kim I. E. [Orthology]. *Effektivnoe rechevoe obshchenie (bazovye kompetencii)* [Effective verbal communication (basic competencies). Dictionary reference]. Electronic edition / Ed. A. P. Skovorodnikov. Krasnoyarsk, 2014, pp. 373–374.
- Kolesov V. V. *Russkaya akcentologiya* [Russian accentology]. Vol. II. St. Petersburg, 2010. 524 p.
- Kuznecov V. O. [Types of idiolects in a modern city (based on the language situation in Bryansk)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya*, 2012, no. 2, pp. 90–98.
- Nikolenkova N. V. [Spelling dictionary and codification of the modern norm: problems of inconsistency]. *Voprosy kul'tury rechi* [Issues in culture of speech]. Vol. 10. Moscow, 2011, pp. 180–185.
- Osipov B. I. [Review of: Russian spelling dictionary / Ed. V. V. Lopatin. Moscow, Azbukovnik, 1999. XVIII + 1262 p.]. *Voprosy yazykoznaniya*, 2001, no. 3, pp. 126–128.
- Rudakov A. N. (ed.). *Georusistika: Pervoe priblizhenie* [Georusistics: First Approximation]. Simferopol', 2010. 152 p.
- Sklyarevskaya G. N. ["They don't say that", or once again about the system, the norm and the usage (the view of the lexicographer)]. *Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova RAN*, 2017, no. 13, pp. 153–159.
- Zakharova K. F., Orlova V. G. *Dialektnoe chlenenie russkogo yazyka* [Dialect division of the Russian language]. Moscow, Prosveshchenie, 1970. 168 p.

Забытая идиома со значением меры и степени

Яна Эмильевна Ахапкина, Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики» (Россия, Москва), yakhapkina@hse.ru

DOI: 10.31857/S013161170026401-0

АННОТАЦИЯ: Широко понимаемая семантика количества включает значение меры и степени, от максимально проявляющейся интенсивности признака, значения ‘очень’, до его полного отсутствия, значения ‘ничуть, нисколько’. В русской речи предложно-падежное сочетание *по + дательный падеж* в одном из употреблений превращается в формулу эталонности. Так, воспроизводимые сочетания *по чести, по совести, по правде* отражают значение ‘правильно, должным образом’, зафиксированное, в частности, в Малом академическом словаре. Национальный корпус русского языка показывает, что сходное употребление к концу XX века сформировалось у сочетания *по уму*. В XVIII–XIX вв. сема эталонности в сочетании с семами максимального проявления или полного отсутствия признака (действия) наблюдалась у выражения, вышедшего сегодня из употребления: *(ни) по булату*. Внутренняя форма сочетания отсылает к дамасской стали как образцу крепости, прочности, упругости и остроты. В примерах из текстов А. О. Аблесимова, И. М. Долгорукова, А. А. Шаховского, Г. Ф. Квитки-Основьяненко *ни по булату* означает, по видимому, ‘нисколько, ни в малой мере’. У М. Н. Загоскина формула *быть честным по булату* приближается к значению ‘в наивысшей степени, по самому большому счету’.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеология, идиома, семантический сдвиг, значение количества, значение меры и степени, семантика модальности, интенсивность, отсутствие, значение эталона

для цитирования: Ахапкина Я. Э. Забытая идиома со значением меры и степени // Русская речь. 2023. № 3. С. 21–39. DOI: 10.31857/S013161170026401-0.

благодарности: Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

From the History of the Russian Language

A Forgotten Idiom with the Meaning of Measure and Degree

Yana E. Akhapkina, National Research University "Higher School of Economics" (Russia, Moscow),
yakhapkina@hse.ru

ABSTRACT: Widely understood semantics of quantity includes the meaning of measure and degree, from the maximal intensity of a feature, the meaning of 'very', to its complete absence, the meaning of 'not at all'. In Russian speech, the prepositional-dative combination *po* + *dative case* in one of its uses turns into a sample, a prototype formula. For instance, the reproducible combinations *po chesti* — *by honour*, *po sovesti* — *by conscience* and *po pravde* — *by truth* reflect the meaning 'correctly, properly', recorded, in particular, in the Small Academic Dictionary. The Russian National Corpus shows that by the end of the twentieth century a similar usage was formed in the combination *po umu* — *by mind*. In the eighteenth and nineteenth centuries, the sema 'sample' in combination with the sema 'maximal manifestation' or 'total absence of a sign (action)' was observed in the expression that has gone out of use today: *ni po bulatu* — (nor) by bulat. The internal form of the combination refers to Damascus steel as a model of strength, durability, resilience and sharpness. In the examples from the texts of A. O. Ablesimov, I. M. Dolgorukov, A. A. Shakhovsky and G. F. Kvitka-Osnovyanenko *ni po bulatu* — (nor) by bulat means, apparently, 'not at all, not in the slightest'.

In M. N. Zagoskin, the formula *byt' chestnym po bulatu — to be fair by the bulat* comes close to the meaning 'in the highest degree'.

KEYWORDS: phraseology, idiom, semantic shift, meaning of quantity, meaning of measure and degree, semantics of modality, intensity, absence, prototype meaning

FOR CITATION: Akhapkina Ya. E. A Forgotten Idiom with the Meaning of Measure and Degree. Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 21–39. DOI: 10.31857/S013161170026401-0.

ACKNOWLEDGEMENTS: This article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University).

Вступительные замечания. Широкая семантика может выражаться лексически, грамматически, фразеологически. Так, обобщенные значения времени, повторяемости ситуации, количества, определенности/неопределенности, указательности, отрицания/отсутствия чего-либо, меры и степени проявления признака, интенсивности действия или признака, скорости, модальности, полноты/неполноты, реального (действительного) воплощения, минимизации получают регулярное выражение устойчивыми сочетаниями слов с частично выветрившейся исходной буквальная семантикой компонентов и расширенной, относительно первичной, сочетаемостью [Баранов, Плунгян, Рахилина 1993, Рахилина 2019]. Часто у таких языковых единиц можно наблюдать и существенный сдвиг в значении сочетания, обусловленный метафорическими и метонимическими переносами [Кустова 2004] или тенденцией к грамматикализации [Герасимов 2016, Зеленин, Руднев 2021, Чень Сюэцин 2022].

В качестве примера выветривания качественной семантики и актуализации семантики количественной можно вспомнить комментарий В.М. Мокиенко к фразеологизму *пруд пруди*, отражающий семантическую и грамматическую судьбу идиомы: «Перегораживание плотиной водоема с быстрым течением требовало немало всякого материала. Этот материал не отличался особой ценностью: запруду засыпали землей, укрепляли ветками, бревнами, камнями. Понятно, что прудить пруд можно было лишь тогда, когда такого материала было под рукой в избытке. Отсюда — истоки переносного значения фразеологизма... В XVIII–XIX вв.

оно <выражение. — Я. А.> управляло обычно творительным падежом... Постепенно такое управление становится все менее употребительным... Творительный падеж все активнее вытесняется родительным, что обусловлено все большей абстрагированностью выражения и влиянием семантического поля 'много чего-либо'» [Мокиенко 2003].

Сравним примеры из Национального корпуса русского языка, относящиеся к XIX веку:

Медом и маслом хоть пруд пруди... ветер взвывает муку вместо пыли (А. А. Бестужев-Марлинский. Письма из Дагестана. 1831); — *У нас в Москве, — продолжал Данила Никифорович, — чего другого, а невестами-то хоть пруд пруди!* (М. Н. Загоскин. Русские в начале осмнадцатого столетия. 1848); *В то время охотников мало было, а теперь ими хоть пруд пруди* (М. Е. Салтыков-Щедрин. Современная идиллия. 1877–1883); *Он вообще дворян разделял на три разряда: на путных, «коих маловато»; на распутных, «коих достаточно», и на беспутных, «коиими хоть пруд пруди»* (И. С. Тургенев. Отрывки из воспоминаний своих и чужих. Старые портреты. 1881); *Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит всё на конке проехать* (А. П. Чехов. Кухарка женится. 1885–1886); — *Теперь в Питере вашего-то брата, беглых разных, пруд пруди!* (И. Д. Путилин. 40 лет среди грабителей и убийц. 1889).

Как видно из примеров, от метафорической и гиперболизированной конструкции с творительным падежом объекта вида «яблоками хоть пруд пруди» через гипотетически реконструируемую промежуточную стадию «яблок столько, что ими хоть пруд пруди» речевая практика переходит к собственно количественной конструкции с родительным падежом «яблок пруд пруди», где *пруд пруди* означает 'очень много', а первичная образность ослабеваает, если не стирается. Неслучайно позиция средства для запруживания уже в ранних примерах может заполняться именами лиц (буквальная семантика выражения, в отличие от вторичной метафорической, изначально не предполагала одушевленности объекта).

Семантические преобразования, приводящие к переосмыслению качественного выражения как выражения с широко понимаемым количественным значением, не исчерпываются метафорой и гиперболой. Особый вид семантического переноса получил название ребрендинга [Рахилина 2010: 426–455; Карпова и др. 2011]. Этот перенос включает стадию семантического выветривания (потери исходного значения) и актуализацию нового широкого употребления, не поддающуюся описанию

в терминах метафоры и метонимии. В результате ребрендинга формируются такие типы значений, как оценка (положительная/отрицательная), степень (высокая/низкая), количество (большое/малое), разнообразие/неразнообразие, большой размер, одновременность, имедиатность, аппроксиматив, безальтернативность [Карпова и др. 2011: 294].

Основной фонд широкозначных фразеологизованных конструкций русского языка классифицирован в тезаурусе [Баранов, Добровольский 2007] и описан в монографии [Баранов, Добровольский 2008].

Конструкция *по + датель*. Одним из примеров конструкции с модальной составляющей ‘нужно, следует’ и семой эталонности, максимального соответствия прототипу, в русской речи видится конструкция *по + дательный падеж*, представленная формулами *по чести, по совести, по правде, по уму*. Д. Э. Розенталь не приводит прототипических примеров для этого употребления, но, описывая семантику сочетания *по + дательный*, называет значение ‘при указании на то, в соответствии с чем совершается действие’ [Розенталь 2002: 255]. Это толкование иллюстрируется употреблением *движение по графику, играть по правилам*. Ср. также *по существу, по порядку, по чертежу, по пунктам, по плану, по образцу, по шаблону*. Эта семантика ‘образца для соответствия’ может быть отправной точкой для осмысления рассматриваемых формул.

1. По чести

В Малом академическом словаре (МАС) [Евгеньева (ред.) 1988] фиксируются три устойчивых сочетания. Первое сочетание толкуется как собственно модальное:

По чести — должным образом, по совести. — *Дети наши по чести жить хотят, по разуму*. М. Горький, Мать.

Второе сочетание обладает качественной семантикой, употребляется в контексте глаголов речи:

По чести (сказать) (в знач. вводн. сл.; устар.) — откровенно, чистосердечно, начистоту. [Князь:] *Вы избегаете признательность мою*. [Арбенин:] *По чести вам сказать, ее я не терплю*. Лермонтов, Маскарад.

Третье сочетание с редупликацией, оно наиболее абстрактно из трех и допускает более широкое множество контекстов:

Честь честью и честь по чести — так, как следует, как положено, как надо.

Общая важная сема всех трех устойчивых выражений — идея правильности, соответствия норме, эталону. В первых двух случаях сохраняется значение этичности, положительной морально-нравственной оценки ситуации, в третьем случае нормативность расширяется и за пределы этически оцениваемого положения дел. Сравним постепенный отход от морально-этической оценки в следующих примерах, датируемых началом, серединой и концом XX столетия:

— Береги, Емошин, потомство, грит... — А дале-то я и не упомянул. Беда, как длинно. **Ответил** я ему как следоват, **честь по чести**. Попрощались мы за руку, говорю я ему на прощанье: — Поедем, профессор Николаев, в деревню, поможешь машинку поставить, а то опять баба ругаться начнет. Бабам всё неладно (Вс. В. Иванов. Часы. 1920–1926); Тоже **халат** на нем **честь по чести** (Ю. Герман. Дорогой мой человек. 1961); Все **честь по чести** было щедро промазано маслом, поворонка не стерлась, и только на ореховом ложе местами — щербинки (О. Куваев. Территория. 1970–1975).

В последнем примере очевидно ослабление морально-нравственной оценки по сравнению с идеей широко понимаемой нормативности, правильности.

В словаре Р. И. Яранцева [Яранцев 1997] выражение помещено в раздел «пример, порядок — путаница, беспорядок» и трактуется с упором на модальный компонент и соответствие эталону, норме, традиции, правилам:

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ. Разг. Так, как надо, как положено, по всем правилам (делать что-л.).

Интонационно выделяется слово *честь* (во 2 случае). Собрался Борька Назаровский в военную школу поступать. Провожали его домашние **честь по чести**. А. Гайдар, Проводы.

По ухватке сторож лих, Кроет **честь по чести**: — Не случилось никаких За ночь происшествий. А. Твардовский, Еще про Данилу.

— У меня тоже есть такие. Двое даже в армии служат **честь по чести**. Ю. Герман, Наш друг Иван Бодунов.

2. По совести

В МАСе фиксируются два устойчивых сочетания. Первое толкуется через понятие правильности с уточнением морально-этического компонента: приведен синоним *справедливо*. Второе в контексте глаголов речи синонимично *по чести-2*.

По совести (жить, поступать и т. п.) (прост.) — правильно, справедливо.

По совести говоря (в знач. вводн. сл.) — говоря откровенно, чисто-сердечно. — *Жалко Рыжика! — сквозь слезы пробасила Любашка. По совести говоря, мне тоже было жаль кота.* Шуртаков, Где ночует солнышко.

В НКРЯ можно найти примеры, где вводное сочетание *по совести* означает не буквально ‘честно, по-честному, без обмана’, а расширенно ‘на самом деле, по-настоящему, в действительности, в реальности’:

Но что касается до выражения крыло вместо крылья, то, по совести, надлежало бы изменить его, потому что птица может рассекает воздух только двумя крыльями, а на одном в воздухе даже и держаться не может (С. П. Жихарев. Записки современника. 1806–1809).

3. По правде (ср. поистине)

В МАСе фиксируются два устойчивых сочетания. Первое с семей ‘правильно’, второе в контексте глаголов речи с семей объективной достоверности, что отличает его от *по чести*-2 и *по совести*-2, в которых акцентированы семы чистосердечия и откровенности, то есть противопоставление строится по линии объективности и субъективности сказанного.

По правде (жить, поступать и т. п.) — честно, правильно.

По правде говоря (или сказать); правду говоря (или сказать) (в знач. вводн. сл.) — употребляется при подчеркивании истинности, достоверности сказанного. *Мы, по правде сказать, все-таки не были избалованы свежестью и обилием новостей.* Гаршин, Аясларское дело.

4. По уму

Подобная фразама в МАСе отсутствует. По-видимому, составители не сочли его обладающим переносным значением¹. Однако обращение к НКРЯ показывает, что с конца XX века выражение употребляется функционально аналогично формулам *по чести*, *по совести*, *по правде* — в функции вводного слова или уточнителя модального показателя, в значении

¹ Благодаря анонимного рецензента, предположившего, что включению выражения в словарь помешала разговорная стилистическая окраска. Действительно, если для основных вокабул пометы *разговорное* и *просторечное* в МАС нередки, то для фразеологизованных употреблений, включенных в словарь, в большей степени характерен книжный характер, а помета *разговорное* часто соседствует для устойчивых выражений с пометой *устаревшее*.

правильности, эталонности (синонимично дискурсивному маркеру *на самом деле*)²:

По уму, надо было дойти до ребят, бросить мешок и сказать... (К. Се-
рафимов. Голубой сталагмит. 1978–1994; *Девочка еще спала, и он се-
речно задумался, что с ней делать. По уму надо сдать находку в...
Куда?* (Д. Липскеров. Последний сон разума. 1999); *Вообще-то по уму
надо было бы немедленно звонить и вызывать наряд, а заодно и «скорую»*
(А. Маринина. Последний рассвет. 2013).

Это современное употребление не противоречит возможному в узусе
параллельному прилагательному обстоятельству употреблению в
значении ‘умно, разумно, осознанно, рационально’:

*Решать проблему с долгами надо по уму: прежде чем списывать старые
долги, нужно создать условия, не допускающие появления новых* (М. Лап-
шин. России нужна новая аграрная политика // Независимая газета.
2003).

К выражениям *по чести, по совести, по правде, по уму* примыкает наре-
чие *по-хорошему*, также получившее функцию дискурсивного показателя
в современной речи:

*Судьбе бы, по-хорошему, в этом случае девушку сначала к психологу на-
править, а потом уже с кем-то соединять* (С. Скарлош. Механика судь-
бы // Кот Шрёдингера. 2017); *По-хорошему бы надо на другую сторону
перейти!* (Е. Мосолов. Селивёрст // Дальний Восток. 2019).

Для конструкции *по + дательный* просматривается потенциал вы-
ветривания буквального значения существительного и ребрендинга с
актуализацией идеи эталонности и правильности. Широкая семантика
высокого качества, в свою очередь, активно взаимодействует в лексиче-
ской системе языка с семантикой большого количества (*много* осмысля-
ется как *хорошо*, эта универсалия зафиксирована теорией концептуаль-
ной метафоры), с семантикой обилия и интенсивности проявления при-
знака, то есть максимума, с одной стороны (ср. *богато угостить ‘щедро’,
богато одарен ‘талантлив’*), и почти полного отсутствия, то есть миниму-
ма, с другой, ср. семантическую эволюцию сферы ‘чистый’ [Резникова,
Печникова 2021], в которой взаимодействуют значение минимума или
отсутствия и значение эталона: *беспримесный* → *идеальный (чистое*

² См. также в «Словаре русского арго» по материалам 1980–1990-х гг. [Елистратов 2000: 361]: *По уму что, что делать и без дополнения — как надо, как полагается, «как у людей», пристойно, разумно, даль-
новидно, прилично, «солидно», без глупостей, без подвоха.*

золото 'без примесей', чисто выговаривать 'без акцента', чисто вести дела 'без обмана'). Включение существительного в состав формулы с эталонной семантикой *по + дательный* может способствовать размышлению исходного значения и актуализации значения образца, предела: *по сути и по самой сути, по логике и по строгой логике*. Взаимодействие качественной и количественной семантики и выветривание исходного значения существительного рассмотрим на примере выражения из беллетристики прошлого, сохранившей для нас ушедшую из активного словаря фразеологию.

Забытая формула (ни/и) по булату. В текстах XVIII–XIX вв. обнаруживаются примеры лексического наполнения конструкции *по + дательный*, позже вышедшего из употребления. Выражение не отражено ни в «Словаре Академии Российской» в статье с толкованием существительного [Словарь Академии Российской 1789–1794, т. 1: 380], ни в словаре М. И. Михельсона [Михельсон 1912: 63], что легко объяснимо выборочным характером попадания устойчивых выражений в ранние лексикографические труды [Биржакова 1965: 270].

Зафиксированы два варианта формулы: утвердительно-положительный и отрицательный. Представляется, что в первом случае речь идет о семантике эталонности, максимального соответствия норме, пика интенсивности, превосходной степени качества, а во втором, напротив, о значении 'нисколько, ни в малой мере'. Таким образом, формула отражает полярные варианты количественной оценки — максимальной и минимальной меры и степени проявления признака. Хронологически раньше обнаруживаются отрицательные варианты, первый в 1780 году.

1. Семантика минимума: 'ни за что, ни в коем случае, ни в малой мере'

Это значение контекстуально обусловлено. Формула присоединяется к глаголам *спускать-спустить* в значении 'простить, не наказывать', *уступать-уступить* <в споре, поединке>, *нарушить* <слово> при наличии перед глаголом отрицания.

Нѣтъ, нѣтъ, теткѣ я никакѣ не покорюсь! // И пускай хоть и въ конецъ я разорюсь // За тебя, а своему брату // Не спущу и по булату! // Вѣдь собой онъ не сверещъ, // То готовъ съ нимъ хоть на ножъ (А. О. Аблесимов. Счастье по жребью. 1780).

Формула появляется в сюжете противоборства, соперничества, любовного противостояния. Исходная семантика боевого противодействия, сопутствующая лексеме *булат* в начальном значении (*булатный нож*,

булатный меч, *булат* как метонимия войны), внешне поддержана предсказанием поединка на ножах, однако по сути употребление совершенно не сводится только к значению применения острого, упругого и прочного оружия. Говорящий не воин, он рисуется перед слушательницей, и выражение в его устах не воспринимается как буквальное, а реализует метафору мужского спора и любовного соперничества как поединка. Неслучайно готовность к воображаемому поединку предваряется указанием на слабость соперника (*свережий* ‘здоровый, видный, бравый’ [Князькова 1965: 210], то есть *не сверез* означает ‘слаб, хил’), что было бы невозможно в некомическом контексте. Удаляясь от буквальной семантики, распространитель при глаголе *не спустить* (‘не оставить без внимания, наказания’) приобретает значение категоричности, производное от семы твердости в исходном значении лексемы. Высказывание экспрессивно, глаголы сопровождаются квантификаторами: *никак не покорюсь, вконец разорюсь*. Усилительная частица *хоть* ‘даже’ усиливает формулу *готов с ним на нож*. В таком окружении *не спущу и по булату* также читается как глагол с интенсификатором. Частица *и* вместо *ни* в составе выражения аналогична вариативным употреблением *не отступать и на йоту — ни на йоту, и пяди — ни пяди*.

С этого времени мы стали с Мясоедовым, как говорят французы, à conteaux tirés, то есть, на ножах. Я ему не уступал ни по булату (И. М. Долгоруков. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течении моей жизни. 1818–1820, окончание работы над текстом датировано по [Степанов 2002]).

Отношения конкуренции, соперничества, спора снова обозначены в примере сразу двумя идиомами — *быть на ножах* (‘враждовать’) и *не уступать ни по булату*. Обе идиомы связаны с идеей оружия как инструмента разрешения спора, но описывают невоенное взаимодействие. Исходная образность стирается и уступает место акцентированию остроты противоречий и твердости занятой позиции (ср. пословицу: *Шелк не рвется, булат не гнется, красное золото не стареет*). Эти значения можно отнести как к сфере семантики качества, так и к сфере интенсивности проявления признака (эталонной, предельной твердости).

Лиза (выходя): Да, чем смелей, тем лучше.

Куркин: Припугнуть хорошенько, да и на мировую... ведь этот Граф не военный?

Лиза: Нет.

Куркин: Так статской?

Лиза: Ни то, ни сё.

Куркин: Сиречь шематон: так для него худой мир лучше доброй брани.

Лиза: У него денег ни полушки, все проиграл...

Куркин: Так на отыгрыш рад всему будет... Стойте тверже, **не спускайте ни по булату** и не забудьте ничего из вышепереченного.

Лиза: Стоять буду и ничего не забуду (А. А. Шаховской. Крестницы, или Полюбовная сделка. 1836).

Совет дается юной мирной особе, ведущая сема при употреблении выражения — необходимая твердость мнения, неколебимость воли, верность решению (*не спускать* здесь ‘не уступать’), качественная семантика соседствует с количественной, то есть подчеркнута мера категоричности запрета, его полнота, интенсификация предостережения, ср. *не спускайте ни за что, ни в каком случае*.

Тут выступил на сцену отец с своею твердою волею и сказал: Да. Я дал **слово и не нарушу** его, **ни по булату** (Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Жизнь и похождения Столбикова (Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах. Рукопись XVIII века). 1841).

В контексте верности данному слову, как и в контексте спора или противоборства, на первый план выступает сема интенсивности.

Типичная сочетаемость глагола *уступать* в отрицательном контексте по НКРЯ демонстрирует показатели малой степени / отсутствия *нисколько, ни на шаг* и выражения, синонимичные *ни в коем случае (ни под каким видом, ни за что)*:

Поставя себе важнейшим предметом удержаться в настоящем положении, я сделал нужные в сем случае распоряжении, приказав начальникам отрядов всеми мерами отражать стремление неприятеля и **не уступать ни сколько** мест настоящих (Д. С. Дохтуров. Рапорт М. И. Кутузову. 1812); Русские **не уступали ни на шаг** места; дрались как львы. (Ф. Н. Глинка. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год. 1812–1817); Куруров: **не уступать ни под каким видом** (А. С. Грибоедов. Письма. 1828); Но он **не уступал ни за что** и говорил, что, умирая, велит поставить ее против себя и будет благословлять милого сына своего и желать ему счастья и здоровья! (Н. А. Полевой. Живописец. 1833).

Для *не нарушить* обнаруживаем контексты с зависимыми *ни в чем, ни разу, ни единым + творит*. Для *не спустить* типичны распространители никому, *ни в чем, ни одному + дат*. В этом ряду *ни по булату* может

расцениваться как один из показателей минимизации возможности отказа от принятого решения, маркеров тотальной невозможности изменить мнение, безусловности занятой позиции.

В двух случаях в вершине сочетания с *ни по булату* не обнаружился глагол. Можно предположить, что устойчивость связи с глаголами *не уступать, не спускать, не нарушать* настолько высока, что допускает эллипсис (ср. эллиптированный глагол в других устойчивых сочетаниях с показателем малой степени или отсутствия: *Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я ни-ни... ни капли!* (Г. П. Данилевский. Беглые в Новороссии. 1862); — *От ваших приказаний я ни шагу; а детки, сами знаете, и своих-то, может статься, не сумела бы так полюбить, как этих...* (В. И. Даль. Павел Алексеевич Игривый. 1847).

Моргушкин. Чего? Хотелось бы исполнить долг дворянский, послужить бы обществу совестным судьей или хоть бы уж и предводителем; все было бы уважение. Так вот беда моя с нашим уездным. Не вносит в список. За известные делишки я по суду оставлен в подозрении за лихоимство; но уже тому десятилетняя давность миновалась. Так и хочет не допустить меня к выборам. Спорю с ним, что это только подозрение и на улику я не сознался; **так ни по булату**. Что делать? Хоть буду действовать и устраивать по-своему (Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Выбор предводителя. 1828).

В претексте идиомы употреблен глагол *не сознался*. Его можно интерпретировать как гипоним к *не уступить, не отступить*. В этом случае *ни по булату* осмысляется как интенсификатор отказа менять позицию в ряду таких типичных распространителей предиката отказа, как *ни за что, ни на шаг*: так <не отступается, не уступает уездный / не отступлюсь, не уступлю уездному> *ни по булату*. Существенно, что одним из типичных распространителей *не уступить*, по НКРЯ, выступает показатель минимальной степени *ни на волос*, подвергшийся ребрендингу и восходящий к сочетанию падежной формы существительного конкретной семантики с частицей и предлогом.

Дакалкин. Ах, матушка Федосья Лукишна! Разве вы не изволили слышать? Я за вас горой стоял и все его опровергал. Изволили заметить, что он вышел в неудовольствии на меня, но я на это не смотрю. Я на правду черт и **для истины ни по булату!** (Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Ясновидящая. 1830).

Здесь выражение употреблено в контексте отстаивания правоты. Можно предположить, что фрейм спора, конкуренции, противостояния

предполагает семантику *не спускать, не уступать*, с которой связана идиома в текстах авторов XVIII–XIX вв. (Аблесимова, Долгорукова, Шаховского), а предикат в речи персонажа опущен как однозначно восстанавливаемый.

2. Семантика максимума: 'в высшей степени, по большому счету'

В положительном оформлении выражение встретилось в двух текстах одного автора в составе сочетания с вершиной *быть честным*. Этот фрейм отсылает к примерам из текстов Г. Ф. Квитки-Основьяненко (*быть для истины ни по булату, не нарушить данное слово ни по булату*)³.

Нашъ губернаторъ былъ чловѣкъ не ученый, всю жизнь служилъ въ военной службѣ и, какъ говорится, былъ честенъ по булату (М. Н. Загоскин. Искуситель. 1838); *Видно еще не перевелись честные-то по булату, православные люди, на святой Руси!* (М. Н. Загоскин. Русские в начале осмнадцатого столетия. 1848).

Честный в текстах Загоскина означает 'порядочный, приличный, верный принципам, чести'. В обоих случаях отрицается склонность персонажа к обману, хитрости или поиску выгоды, корысти, подчеркивается прямота героя и образцовость его честности. В первом употреблении подчеркивается естественность и даже наивность персонажа, противопоставленного ученым спорщикам, а во втором — бескорыстность полученного говорящим предупреждения (указано, что дочь говорящего замужем и искать личной выгоды в том, чтобы подольститься к ее отцу, предупредивший об опасности, с точки зрения говорящего, не мог). Важно, что в первом примере выражение сопровождается дискурсивным маркером *как говорится*, указывающим на его воспроизводимость, поговорочный характер, то есть устойчивость, фразеологизованность.

Внутренняя форма идиомы. Булат осмысляется как прочная и упругая сталь, эталон крепости и остроты.

Толкование по МАСу. БУЛА́Т, -а, м. Старинная узорчатая сталь высокой прочности и упругости, употреблявшаяся для изготовления холодного

³ Благодарю анонимного рецензента за указание на сходство переосмысления выражения с семантическими процессами у показателей высокой степени *кристально* (*кристально честный, прозрачный*) и точности, обязательности *железно* (— *Мы вам будку отдельно дали, это прочнее всякого загса. Это уже значит железно* (Ю. Трифонов. Утоление жажды. 1959–1962). В этот ряд можно добавить современное употребление *железобетонно* и уходящее употребление *кремень* в значении верности данному слову, обещанию. Ведущей семой для переосмысления в этом случае оказывается твердость материала.

оружия. Корабельщики в ответ: — Мы объехали весь свет; Торговали мы булатом, Чистым серебром и золотом. Пушкин, Сказка о царе Салтане. || Трад.-поэт. Стальной клинок, меч. Да, жаль его: сражен булатом, Он спит в земле сырой. Лермонтов, Бородино. Снаряжу коня, Наточу булат. Кольцов, Удалец [Евгеньева (ред.) 1988].

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что чистоту серебра и золота А. С. Пушкин подчеркивает, а чистота булата несомненна, включена в ядро значения лексемы. Л. П. Крысин, рассуждая о функции Magn, обращает внимание на ее возможную включенность в семантику лексемы, склеенность интенсификатора с качественным значением, необязательность внешнего синтаксического выражения при помощи прилагательного или наречия [Крысин 2012: 346–347]. Сема чистоты как беспримесности, в свою очередь, системно становится основой ребрендинга, ср. [Резникова, Печникова 2021]. В работе показано, как лексемы с коннотативной семой беспримесности в разных языках порождают переносные значения ясности, прозрачности, яркости, ценности и другие. Наречие *чисто* в русском языке, в свою очередь, подвергается ребрендингу и становится интенсификатором: *чисто историческое содержание, чисто петербургский характер*.

Эталонность булата как закаленной стали подчеркнута метафорическим уподоблением характера мастера продукту его деятельности:

Отец любил говорить: «Мы, Яковенко, мастера по булату, да и сами того же закала. Огонь и воду пройдем и только крепче станем» (А. Воинов. Пять дней: повесть и рассказы. 1984).

Соответственно, *по булату* может пониматься как ‘крепче не бывает’ (о честном слове). «Словарь Академии Российской», толкуя лексему *булат*, использует оценочное прилагательное со значением ‘высокая степень проявления признака’ *отменный*: «Уклад, которому особым искусством отменная придается твердость» [Словарь Академии Российской 1789–1794, т. 1: 380]. Сема ‘наивысшей пробы’ из буквального значения лексемы *булат* становится основой для переосмысления слова в роли интенсификатора. Такое преобразование можно отнести к сфере ребрендинга и включить в подтип формирования значения высокой степени на базе семантики завершенности, совершенства, эталонности. В результате семантического преобразования лексема утрачивает материально-вещественное осмысление и приобретает отвлеченную семантику, что позволяет ей встать в ряд выражений *по чести, по совести, по правде, по уму* с неконкретным по семантической природе существительным в составе.

Вторичная семантика формулы. Между значением максимальной или минимальной количественной оценки в формуле (*ни/и*) *по булату*, появившейся в результате ребрендинга и опирающейся на семантику беспримесности, с одной стороны, а на семантику наивысшей пробы, отменной обработки, с другой, и значением нормы, правильности, эталонности, свойственной формулам *по + датив*, видится некоторая связь. Количественная по природе сема интенсивности, крайней (наибольшей, наименьшей) степени проявления признака, идея экстремума может быть качественно переосмыслена как прототип, образец, должное, правильное. Идея максимального/минимального проявления соприкасается с представлением об идеале, образце (ср. *стоять на своем тверже стали, ни на йоту не отступить*). Проявление положительного свойства (например, честности) в наивысшей степени или полное отсутствие проявления отрицательного свойства (например, трусости) в этом случае осмысляются как норма, совершенство, полное соответствие требованиям (ср. *по большому счету, по гамбургскому счету*).

На энантиосемичность предлога и префикса *по* (*по-*) как на способность реализовать антонимичные значения 'часто' и 'мало' указывалось уже в «Словаре Академии Российской» [Словарь Академии Российской 1789–1794, т. 4: 939]: «Предлог сей входя в сложение глаголов и наречий означает учащение или уменьшение». Включение лексемы *булат* как наименования идеально чистой и твердой стали, прототипического, эталонного литья в конструкцию с предлогом *по + дательный*, склонную к превращению в дискурсивный или модальный показатель, в выразитель семантики нормы, правильности, эталонности, поддерживает переосмысление лексемы в результате ребрендинга и актуализацию у выражения значения полноты проявления признака или полного отсутствия его проявления.

Формула не закрепилась в языке, не сохранилась до наших дней. Последнее найденное употребление относится к XIX в. Возможно, она оказалась вытеснена конкурентами.

Литература

- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. (ред.). Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 1135 с.
- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008. 656 с.
- Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнеры, 1993. 207 с.

- Биржакова Е. Э. Описание фразеологического состава русского литературного языка XVIII века в «Словаре Академии Российской» 1789–1794 гг. // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века / Под ред. Ю. С. Сорокина. М.–Л.: Наука, 1965. С. 251–270.
- Герасимов Д. В. Интенсификатор *до ужаса* в русском языке на пути грамматикализации // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. 2016. Т. XII. № 1. С. 336–363.
- Евгеньева А. П. (ред.). Словарь русского языка. В 4 т. М.: Русский язык, 1988.
- Елистратов В. С. Словарь русского арго. М.: Русские словари, 2000. 694 с.
- Зеленин А. В., Руднев Д. В. «Что значит этот фон»: история грамматикализации предложно-падежной формы *на фоне* // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 74. С. 43–60.
- Карпова О. С., Рахилина Е. В., Резникова Т. И., Рыжова Д. А. Оценочные значения ребрендингового типа в признаковой лексике (по материалам Базы данных семантических переходов в качественных прилагательных и наречиях) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 25–29 мая 2011 г.). Вып. 10 (17). М.: РГГУ, 2011. С. 292–304.
- Князькова Г. П. Лексика народной разговорной речи в комедии и комической опере 60–70-х годов XVIII века (материалы и наблюдения) // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века / Под ред. Ю. С. Сорокина. М.–Л.: Наука, 1965. С. 136–225.
- Крысин Л. П. О выражении лексической функции Magn в русской разговорной речи // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: сборник статей в честь 80-летия И. А. Мельчука / Под ред. Ю. Д. Апресяна и др. М.: ЯСК, 2012. С. 344–348.
- Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: ЯСК, 2004. 472 с.
- Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. В 2 кн. Кн. 1. СПб.: Академия наук; Брокгауз-Ефрон, 1912. 1161 с.
- Мокиенко В. М. Чем прудят пруд? // Мокиенко В. М. Почему так говорят? СПб.: Норинт, 2004. С. 396–399.
- Рахилина Е. В. Лингвистика конструкций. М.: Азбуковник, 2010. 583 с.
- Рахилина Е. В. Грамматикализация в сфере количества: русские идиомы // Пограничный русский язык. Как рождаются экспрессивные кванторные выражения / Под ред. Е. Р. Добрушиной, Я. Э. Ахапкиной. СПб.: Алетейя, 2019. С. 5–21.
- Резникова Т. И., Печникова В. М. Чистая типология: о лексикализации семантики чистоты в славянских языках // Slavistica Revija. 2021. Т. 69. № 1. С. 103–120.
- Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Управление в русском языке. М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2002. 302 с.

- Словарь Академии Российской. Т. 1. От А до Г. Т. 4. От М до П. СПб.: при Императорской Академии наук, 1789–1794. 1150 стлб.; 1272 стлб.
- Степанов В. М. Неизданные тексты И. М. Долгорукова // XVIII век. Сборник 22 / Отв. ред. Н. Д. Кочеткова. СПб.: Наука, 2002. С. 409–430.
- Чень Сюецин. Грамматикализация конструкции «по адресу» // Вестник Челябинского государственного университета. 2022. № 3 (461). Филологические науки. Вып. 128. С. 36–42.
- Яранцев Р. И. Русская фразеология. Словарь-справочник. М.: Русский язык, 1997. 845 с.

References

- Baranov A. N., Dobrovol'skii D. O. (ed.). *Slovar'-tezaurus sovremennoi russkoi idiomatiki* [Dictionary-thesaurus of modern Russian idioms]. Moscow, Mir Ehntsiklopedii Avanta+ Publ., 2007. 1135 p.
- Baranov A. N., Dobrovol'skii D. O. *Aspekty teorii frazeologii* [Aspects of the theory of phraseology]. Moscow, Znak, 2008. 656 p.
- Baranov A. N., Plungyan V. A., Rakhilina E. V. *Putevoditel' po diskursivnym slovam russkogo yazyka* [Guide to the discursive words of the Russian language]. Moscow, Pomovskii i Partnery Publ., 1993. 207 p.
- Birzhakova E. E. [Description of the phraseological composition of the Russian literary language of the 18th century in the "Dictionary of the Russian Academy" 1789–1794]. *Materialy i issledovaniya po leksike russkogo yazyka XVIII veka / pod red. Yu. S. Sorokina* [Materials and research on the vocabulary of the Russian language of the XVIII century (ed. by Yu. S. Sorokin)]. Moscow – Leningrad, Nauka Publ., 1965, pp. 251–270. (In Russ.)
- Chen' Syuetsin. [Grammaticalization of the construction "at the address"]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2022, no. 3 (461). Filologicheskie nauki. Vyp. 128, pp. 36–42. (In Russ.)
- Elisratov V. S. *Slovar' russkogo argo* [Dictionary of Russian argo]. Moscow, Russkie Slovarei Publ., 2000. 694 p.
- Evgen'eva A. P. (ed.). *Slovar' russkogo yazyka. V 4 t.* [The dictionary of Russian language in 4 vols.]. Moscow, Russkii Yazyk Publ., 1988.
- Gerasimov D. V. [Russian degree modifier *do uzhasa* on the grammaticalization path]. *Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovanii RAN*, 2016, vol. XII, no. 1, pp. 336–363. (In Russ.)
- Karpova O. S., Rakhilina E. V., Reznikova T. I., Ryzhova D. A. [Estimated values of the re-branded type in the indicative vocabulary (based on the database of semantic transitions in qualitative adjectives and adverbs)]. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii*, 2021, no. 1, pp. 10–18. (In Russ.)

- nologii: Po materialam ezhegodnoi Mezhdunarodnoi konferentsii "Dialog"* [Computational Linguistics and Intelligent Technologies: Based on the materials of the annual International Conference "Dialogue"] (Bekasovo, 25–29 maya 2011). Vyp. 10 (17). Moscow. RGGU, 2011, pp. 292–304. (In Russ.)
- Knyaz'kova G. P. [Vocabulary of folk colloquial speech in comedy and comic opera in the 60s–70s of the 18th century (materials and observations)]. *Materialy i issledovaniya po leksike russkogo yazyka XVIII veka (pod red. Yu. S. Sorokina)* [Materials and research on the vocabulary of the Russian language of the XVIII century (ed. by Yu. S. Sorokin)]. Moscow – Leningrad, Nauka Publ., 1965, pp. 136–225. (In Russ.)
- Krysin L. P. [On the expression of the lexical function Magn in Russian colloquial speech]. *Smysly, teksty i drugie zakhvatyvayushchie syuzhety: sbornik statei v chest' 80-letiya I. A. Mel'chuka, pod red. Yu. D. Apresyana i dr.* [Meanings, texts and other exciting stories: a collection of articles in the chest of the 80th anniversary of I. A. Melchuk, ed. by Yu. D. Apresyan and others]. Moscow, YASK Publ., 2012, pp. 344–348. (In Russ.)
- Kustova G. I. *Tipy proizvodnykh znachenii i mekhanizmy yazykovogo rasshireniya* [Derived value types and language extension mechanisms]. Moscow, YASK Publ., 2004. 472 p.
- Mikhel'son M. I. *Russkaya mysl' i rech': Svoe i chuzhoe. Opyt russkoi frazeologii. Sbornik obraznykh slov i inoskazanii. V 2 kn. Kn. 1* [Russian thought and speech. Yours and someone else's. Experience of Russian phraseology. Collection of figurative words and parables]. St. Petersburg, Akademiya nauk; Brokgauz-Efron, 1912. 1161 p.
- Mokienko V. M. [What is pond ponding?]. Mokienko V. M. *Pochemu tak govoryat?* [Why do they say so?]. St. Petersburg, Norint Publ., 2004, pp. 396–399. (In Russ.)
- Rakhilina E. V. *Lingvistika konstruktssii* [Linguistics of constructions]. Moscow, Azbukovnik Publ., 2010. 583 p.
- Rakhilina E. V. [Grammarization in the sphere of quantity: Russian idioms]. *Pogranichnyi russkii yazyk. Kak rozhdaiutsya ehkspressivnye kvantornye vyrazheniya (pod red. E. R. Dobrushinoi, Y. E. Akhapkinoi)* [Border Russian language. How expressive quantifier expressions are born]. St. Petersburg, Aleteiya Publ., 2019, pp. 5–21. (In Russ.)
- Reznikova T. I., Pechnikova V. M. [Pure typology: On the lexicalization of the semantics of purity in the Slavic languages]. *Slavisticna Revija*, 2021, vol. 69, no. 1, pp. 103–120. (In Russ.)
- Rozental' D. E. *Spravochnik po russkomu yazyku. Upravlenie v russkom yazyke* [Reference book on the Russian language. Government in Russian]. Moscow, Oniks 21 vek: Mir i Obrazovanie Publ., 2002. 302 p.
- Slovar' Akademii Rosciiskoi (T. 1. ot A do G. T. 4. ot M do P)* [Dictionary of the Russian Academy (Vol. 1 from A to G; vol. 4 from M to P)]. St. Petersburg: pri Imperatorskoi Akademii nauk, 1789–1794. 1150 stlb.; 1272 stlb.
- Stepanov V. M. [Unpublished texts by I. M. Dolgorukov] *XVIII vek. Sbornik 22 (otv. red. N. D. Kochetkova)* [XVIII century. Compilation 22]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2002, pp. 409–430. (In Russ.)

- Yarantsev R. I. *Russkaya frazeologiya. Slovar'-spravochnik* [Russian phraseology. Dictionary reference]. Moscow, Russkii Yazyk Publ., 1997. 845 p.
- Zelenin A. V., Rudnev D. V. ["What does this fon mean?": The history of grammaticalization of the prepositional case form *na fone*]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*, 2021, no. 74, pp. 43–60. (In Russ.)

Мужняя жена и диво дивное: из истории плеонастических сочетаний в русском языке

Елена Владимировна Генералова, Санкт-Петербургский государственный университет
(Россия, Санкт-Петербург), elena-generalova@yandex.ru

DOI: 10.31857/S013161170026390-8

АННОТАЦИЯ: Проблематика статьи лежит в области изучения в диахроническом аспекте языковых явлений плеоназма и тавтологии, единая трактовка которых в современной лингвистической традиции отсутствует. Исследование феномена языковой избыточности плодотворно на материале ненормированной лексико-семантической системы языка донационального периода. В статье рассматриваются устойчивые сочетания, обнаруживающие смысловой повтор в семантических отношениях своих компонентов, в русском языке XVI–XVII вв. В текстах этого периода могут быть выделены различные типы плеонастических конструкций, а именно: 1) тавтологические фразеологизмы, состоящие из однокоренных слов (*воровством воровать*); 2) собственно плеонастические сочетания с семантически избыточным компонентом (*мужняя жена*); 3) расчлененно-описательные конструкции, имеющие в языке однокоренной с ними однословный синоним (*средной день* (ср. *среда*)), в том числе обороты с широкозначными существительными (*пьяным обычаем*); 4) условно синонимические конструкции, включающие однородные, близкие по смыслу компоненты (*не знать, не ведать*). В статье описаны особенности структуры, семантики, функционирования различных плеонастических устойчивых сочетаний, а также их дальнейшая судьба в русском языке: одни, употребляясь с усилительной семантикой как этикетные формулы, остались маркерами делового языка XVI–XVII вв., другие известны в текстах разных

эпох, выступая знаком принадлежности контекста к фольклорному или стилизации, третьи активно используются как фразеологизмы и в современном языке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плеоназм, тавтология, языковая избыточность, устойчивое сочетание, историческая фразеология, русский язык XVI–XVII вв.

для цитирования: Генералова Е. В. *Мужняя жена и диво дивное*: из истории плеонастических сочетаний в русском языке // Русская речь. 2023. № 3. С. 40–54. DOI: 10.31857/S013161170026390-8.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-00038 «Истоки русской фразеологии: проект дифференцированного исторического словаря фразеологических единиц русского языка XVI–XVII веков», <https://rscf.ru/project/23-28-00038/>

From the History of the Russian Language

Muzhnyaya Zhena and Divo Divnoe: from the History of Pleonastic Combinations in Russian Language

Elena V. Generalova, St. Petersburg State University (Russia, St. Petersburg),
elena-generalova@yandex.ru

ABSTRACT: The problematics of the article lies in the field of studying the linguistic phenomena of pleonasm and tautology in diachronic aspect. The unified interpretation of these notions is absent in the modern linguistic tradition. The study of linguistic redundancy is effective on the basis of the non-standardized lexical semantic system of the language of the pre-national period. The article deals with stable combinations that reveal semantic duplication in the semantic relations of their components in the Russian language of the 16th–17th centuries. In the texts of this period various types of pleonastic

constructions can be distinguished: 1) tautological phraseological units consisting of single-root words; 2) proper pleonastic combinations with a semantically redundant component; 3) dissected-descriptive constructions that have a one-word synonym of the same root, including expressions with broad-valued nouns; 4) conditionally synonymous constructions, including homogeneous components that are close in meaning. The article describes the features of the structure, semantics, functioning of various pleonastic stable combinations, as well as their further fate in Russian language. Some, used with amplifying semantics as etiquette formulas, remain markers of the business language of the 16th–17th centuries, others are known in texts of different epochs, acting as a sign that the context belongs to the folklore or stylization, the third ones are actively used as phraseological units in modern language.

KEYWORDS: pleonasm, tautology, linguistic redundancy, stable combination, historical phraseology, Russian language of the 16th–17th centuries

FOR CITATION: Generalova E. V. *Muzhnyaya Zhena and Divo Divnoe: from the History of Pleonastic Combinations in Russian Language*. Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 40–54. DOI: 10.31857/S013161170026390-8.

ACKNOWLEDGEMENTS: The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation, project No. 23-28-00038 “The origins of Russian phraseology: a project for a differentiated historical dictionary of phraseological units of the Russian language of the 16th–17th centuries”. <https://rscf.ru/project/23-28-00038/>

*Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завестъ
Мне б хотелось...*

А. С. Пушкин

Какой может быть жена, кроме как мужней? Можно ли казнить не до смерти? В чем разница между зимней порой и зимой? Что означают выражения долг не в долг и кабала не в кабалу? Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратимся к истории плеонастических конструкций в русском языке.

Языковые явления плеоназма и тавтологии имеют длительную традицию изучения, в отечественной лингвистике впервые получили описание

в трудах А. А. Потебни, Ф. И. Буслаева. Однако и на настоящий момент нет однозначного определения этих явлений, понимания их природы и соотношения (см., например, [Зайц 2001; Ковалева 2016; Светличная 2019; Парахонько 2021]). Плеоназм рассматривается как речевая ошибка, стилистическая фигура, проявление системных свойств языка. Тавтология трактуется как явление, связанное с редупликацией, средство достижения экспрессивности, исследуется на материале разговорной речи.

В русистике кардинально менялся взгляд на соотношение плеоназма и тавтологии: были попытки и разводить эти явления и определять их как независимые, и объединять, но на разных основаниях: «отечественные лингвисты XIX века стали трактовать тавтологию шире и рассматривали плеоназм как ее разновидность. ...в XX веке взгляд языковедов на соотношение тавтологии и плеоназма изменился: плеоназм стал пониматься как родовое явление, тавтология — как видовое» [Ковалева 2016: 38]. А. П. Евгеньева предложила различать «узкое» и «широкое» понимание тавтологии [Евгеньева 1963]: тавтология в узком смысле — это конструкция, включающая однокоренные слова, в «широком» же аспекте тавтология представляет собой избыточность плана содержания в целом. Плеонастические и тавтологические конструкции рассматривались на историческом и современном языковом материале (активно исследуются в медиадискурсе как средство экспрессивности), и лингвисты отмечают существенную разницу в функционировании этих явлений в диахронии и синхронии. Подчеркивалось принципиальное несовпадение плеоназма, рассматриваемого в языковом и речевом аспектах.

Представляется, что изучение конкретных лингвистических данных, выявление семантических, структурных и функциональных особенностей плеонастических и тавтологических конструкций в текстах разных языковых периодов, их классификация и установление хронологических изменений будут способствовать сложению единой современной концепции средств языковой и речевой избыточности. Настоящая статья посвящена плеонастическим устойчивым сочетаниям в русском языке XVI–XVII вв. Исследование на историческом материале продуктивно и плодотворно, поскольку избыточность — характерное свойство ненормированной языковой системы. Тексты периода XVI–XVII вв., определяемого рядом исследователей как начало формирования национального языка, особенно богаты в этом отношении, поскольку язык находится на пике своего экстенсивного развития, накопив множество разнообразных синонимичных вариантов и способов выражения, из которых в последующий период, этап сложения национального языка, осуществляется выбор. Базой исследования послужили материалы картотек и исторических словарей русского языка, описывающих язык XVI–XVII вв.: «Словаря

обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» и его карто-теки, «Словаря русского языка XI–XVII вв.», региональных исторических словарей. В статье используется «узкое» понимание тавтологии как явления, связанного с использованием однокоренных слов; плеоназм определяется как проявление избыточности, выражающееся в дублировании элементов смысла, включая, таким образом, тавтологию как одно из проявлений этой избыточности (т. е. плеоназм трактуется как родовое по отношению к тавтологии понятие). Рассматриваются фразеологизированные конструкции, обнаруживающие смысловой повтор в семантических отношениях своих компонентов.

Самой многочисленной группой таких сочетаний в старорусском языке являются собственно тавтологические (в «узком» смысле) сочетания — словесные комплексы, состоящие минимум из двух однокоренных слов. Для обозначения таких единиц А. Г. Ломовым было введено понятие «тавтологического фразеологизма», под которым понимается «сочетание однокоренных слов, близких по значению и различающихся морфологически» [Ломов 1971: 13–17]. Деловые памятники XVI–XVII вв. изобилуют такими конструкциями (см. *грабежом пограбить, убытками изубытчить, вал валить, клятвою клясться, мытью замытиться, царем зацарить* и др.).

А. И. Васильев, рассмотревший тавтологические фразеологизмы на материале древнерусского языка, делает вывод, что «абсолютное большинство таких выражений составляют глагольные тавтологические обороты» [Васильев 2012: 32]. Эта тенденция сохраняется и в языке XVI–XVII вв., при этом ряд сочетаний (*мучить муками, казнить казнью* и др.) наследуется старорусским языком от предыдущего периода. Л. М. Ройзензон подчеркивает, что тавтологические сочетания выступают «тесным связующим звеном между синтаксическими и фразеологическими ярусами языка» [Ройзензон 1977: 55]. В глагольных оборотах эта связь фразеологии и синтаксиса рельефно ощутима: тавтологические сочетания в языке Московской Руси включают слова с корнями определенной семантики (часто связанной с имущественно-правовой сферой или конкретными действиями) и представляют собой морфологически определенные типы словосочетаний. По структуре, как и в древнерусском языке, превалируют глагольные сочетания, построенные либо по формуле «глагол + однокоренное сущ. в вин. пад.» (*городьбу городить, гоньбу гонять, шутку зашутить, изделие делать, дело делать (отделать), покупку искупить*), либо по формуле «глагол + однокоренное сущ. в тв. пад.» (творительный тавтологический) (*воровством воровать, убытками убытчить, мукой замучиться, грабежом грабить, мытью замытиться, выемкой вынимать, высыпать сыпью, вытрубить трублею, иском искать*, в том числе и с одушевленным

существительным: *зацарить царем*). Реже встречаются глагольные формулы с предложно-падежными сочетаниями: *вылазить на вылазку, в погоню гонять, на издержку издержать*, — и наречиями: *воровски воровать*. Часть глагольных тавтологических оборотов допускает определение при компоненте-существительном: *венчать царским венцом, должиться (одолжаться, обдолжать) великими долгами (долги), изобижать всякими обидами, изубытчить большим убытком*. Особенностью языка Московской Руси являются деловые формулы, построенные по модели «сущ. в им. пад. + не + то же сущ. в вин. пад.» (*запись не в запись, кабала не в кабалу, долг не в долг, грамота не в грамоту, крестьянство не в крестьянство*) с семантикой 'отмена действия документа'. Например, *кабала не в кабалу* — формула, означающая отмену действия долговой расписки: *А кому они после духовных дадут на себя кабалы вновь, и те кабалы не в кабалы* (Улож. 1649 г., 349), *И та кабала не въ кабалу и долъ не в долъ и дача не въ дачю* (ДАИ, 296, 1629–1639 гг.). Такие сочетания представляют собой особый тип тавтологического фразеологизма: компоненты являются разными формами одного и того же слова.

Именных устойчивых тавтологических сочетаний в старорусском языке существенно меньше, они нередко восходят к устной народной традиции: *чудо чудное, диво дивное, горе (злочастие) горинское*. Немного наречных (*добре добро*) и атрибутивных (*един по единому*) тавтологических сочетаний.

Чаще всего сочетания фольклорного происхождения используются в текстах старорусского языка с эстетической функцией, которую М. В. Пименова определяет как основную функцию таких повторов в древнерусском языке [Пименова 2007: 91]: например, *Говорит братец Микита Романович: Что же за чудо за чудное, что же за диво за дивное, не звана пришла гостя, не приказывана?* (Ист. песни, 346, XVI в.). Глагольные же тавтологические фразеологизмы в большинстве своем составляют принадлежность деловых документов и используются с усилительной семантикой в качестве этикетного средства деловой письменности: *И царь и великий князь велит на тех людех **исковы иски** монастырских людей правити без суда втрое* (Дипломат.-4, 45, 1556 г.), *А учну яз **воровством воровати...** и на мне, на Фоме, монастырская пеня, что игумен укажет* (А. Солов. м., 213, 1583 г.). Функционирование тавтологических фразеологизмов в качестве формул (клише) деловой письменности с усилительной семантикой в языке XVI–XVII вв. подтверждает вывод Т. Г. Крапотиной, что «компоненты переменно-устойчивых сочетаний тавтологического типа при вхождении во фразеологическую систему претерпевают изменение синтаксических отношений и своего лексического значения» [Крапотина 1996: 4].

Вторая группа конструкций, ярко представляющих явление речевой избыточности, — собственно плеоназмы (Т. А. Ковалева определяет этот тип как «лексико-семантический плеоназм» — конструкцию, один из компонентов которой избыточен в семантическом отношении [Ковалева 2016: 37–38]). Большинство фразеологических оборотов, один компонент которого дублирует смысл другого, в старорусском языке — это атрибутивные конструкции с избыточным определением: *дурак безумный, водяной ключ, земляной вал, дебри непроходимые, святые иконы, мужняя жена, торговый гость* (*гость* ‘богатый купец, член первой по значимости организации купцов, который вел торговлю с другими городами и странами’ [СОЯ: 4, 218–219]), *затейные враки* (*затейный* ‘ложный, связанный с наговором, клеветой’ [СОЯ: 7, 196]). Конструкция с избыточным определением может включаться в состав фразеологизма: например, *видать своими глазами*¹. Другой структурный тип собственно плеонастических конструкций, известных в языке XVI–XVII вв.: глагол с избыточным дополнением (*вскричать голосом, слово выговорить, губить до смерти, не испоздать времени*) или наречием (*затевать ложно* — наречие избыточно, т. к. глагол *затевать* имел в языке Московской Руси семантику ‘ложно обвинять, возводить клевету’). Реже фиксируются адverbиальные (*искони вечно*) и атрибутивные (*всякий разный (розный)*) плеонастические обороты.

Следует отметить, что для этого типа устойчивых сочетаний характерно неполное совпадение сем компонентов, иногда один из компонентов избыточен лишь на первый взгляд. Основой возникновения таких оборотов в языке Московской Руси выступает прежде всего диффузная семантика слова, характерная для языка донационального периода. Значение лексемы системно не закреплено (как в последующую эпоху), оно контекстуально обусловлено, границы значения определены нечетко. Так, фразеологические обороты *казнить смертью* и *казнить до смерти* (*А будет тать учинит и на первой татьбе убийство, и его казнить смертью* (Улож. 1649 г., 385)), с одной стороны, могут быть расценены как плеонастические, с учетом того, что глагол *казнить* имел семантику ‘предать/предать смерти’ (*Ай грешников казнили все, вешали* (Ист. песни, 336, XVI в.)), а с другой — обусловлены диффузной семантикой этого глагола ‘подвергнуть/подвергать суровому телесному наказанию; покарать/карать’ (*Каго казнятъ руку или ногу отсѣкут, ино преже каломъ лошадинымъ свѣжмъ горючимъ приложить к ранѣ* (Леч. Щук., л. 62 об., XVII в.)). Аналогично

¹ Интересно, что этот оборот фиксируется в разговорнике немецкого купца Т. Фенне (*Видал ты своими глазами, что то вѣра есть?* (Разг. Фенне, 390, 1607 г.)) и в качестве примера в грамматике Г. Лудольфа (*Я видалъ своими глазами* (Лудольф, 13, 1696 г.)). Записи, очевидно сделанные иностранцами со слуха, свидетельствуют о принадлежности этого оборота к разговорной речи.

и слово *жена* (*мужняя жена*) в языке XVI–XVII вв. функционирует и с семантикой ‘женщина по отношению к мужчине, с которым она состоит в браке’, и с семантикой ‘то же, что женщина’ [СОРЯ: 6, 211] (во втором случае вопрос о плеоназме снимается). Если же признать сочетание *мужняя жена* смысловым повтором, то наличие определения акцентирует значение существительного, делает сочетание экспрессивным: подчеркивается полная зависимость женщины от мужа в браке². Ср., согласно выводам Е. Е. Флигинских, рассмотревшей образ жены во фразеологии русского, английского и французского языков, особенностью русской фразеологии является наличие когнитива «зависимость жены от мужа» и «жена надолго» [Флигинских 2015: 121]. Именно такую смысловую нагрузку сочетание *мужняя жена* имеет и в произведениях классической русской литературы: *Варвара: Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена* (А. Н. Островский. Гроза), *Мужние жены* представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы)³, и в современном языке: *Кино о типичной для всех стран и народов простой семье, где мужчина — моральный урод и алкаш, а женщина — терпеливая «мужняя жена», верящая, что все еще исправится, вот только настанет понедельник новой недели* (Аргументы и факты. 2004, 04). Сочетание *мужняя жена* можно рассматривать и в ряду общей системы терминов родственных отношений: «Словарь русского языка XVIII в.» фиксирует как устойчивые выражения *мужний брат* ‘деверь’, *мужняя сестра* ‘золовка’, *мужняя жена* [Сл18: 13, 68] (обозначения родственников, вошедших в семью со стороны мужа). Но именно плеонастический характер оборота *мужняя жена*, а также стремящаяся к качественному значению (а не притяжательная) семантика прилагательного *мужний* и за счет этого экспрессивность фразеологизма обеспечили этому сочетанию долгую жизнь в русском языке. Существование устойчивого сочетания поддерживалось и его функционированием в составе поговорочного выражения: *Горевать ты меня покидаешь ни вдовую, ни мужнею женою* (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву), *Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена* (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы), *Что я такое? Ни девка, ни баба, ни мужняя жена, — говорила Харитина в каком-то бреду* (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Хлеб).

² Это зафиксировано даже в толковании этого устойчивого сочетания в современном русском языке: см. Малый академический словарь: «*Мужняя жена*’ замужняя женщина (обычно всецело зависящая от мужа)’» [Евгеньева (ред.) 1981–1984, т. 2: 309].

³ Эти и последующие примеры, в тех случаях, где не дается ссылка на исторические документы, были найдены при помощи Национального корпуса русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 7.03.2023).

Особый тип плеонастических сочетаний, характерных для языка Московской Руси, представлен так называемыми расчленено-описательными выражениями — устойчивыми сочетаниями, обозначающими конкретный денотат и имеющими в языке того же периода однословный синоним (вбирающий семантику обоих компонентов): *дискосное блюдо* (ср. *дискос*), *середной день* (ср. *среда*). Однословный синоним к таким плеонастическим сочетаниям образуется по разным моделям, но это всегда лексема, однокоренная с одним из компонентов: *воскресный день* (ср. *воскресение*), *вчерашний день* (ср. *вчера*), *зимней порой* (ср. *зимой*), *мир вселенный* (ср. *вселенная*), *стремянной конюх* (ср. *стремянной*), *духовная грамота* (ср. *духовная*), *сполошный колокол* (ср. *сполох*), *изменничьи люди* (ср. *изменники*). Такие сочетания нередко образуются по моделям: сочетание «оттопонимическое прилаг. + сущ. *люди*» — это распространенная модель для обозначения жителей какого-либо города, страны, местности или войска этой территории: *итальянские люди*, *аглинские люди*, *свейские люди*, *московские люди* (см. подробнее [Генералова 2016: 160]), «оттопонимическое прилаг. + сущ. *город*» — модель характерного расчлененного названия населенных пунктов (*Архангельский город*, *Арзамасский город*), атрибутивные сочетания со словом *мастер* широко использовались как обозначения различных профессий (наряду с соответствующими однословными синонимами): *колокольный мастер* (ср. *колокольник*), *иконный мастер* (ср. *иконник*), *завязочный мастер* (ср. *завязочник*).

Подтипом таких расчлененно-описательных плеонастических конструкций являются устойчивые сочетания, включающие существительные с ослабленным лексическим значением: *тайным обычаем*, *пожарное время*, *здешнее место*. В этих устойчивых сочетаниях избыточными выступают существительные, особенность которых заключается в предельно широком или даже ослабленном лексическом значении (конструкции со словом *люди* тоже могут быть отнесены к этому подтипу), т. е. это слова, подвергшиеся «семантическому опустошению» [Мандрикова 2015: 69], функционирующие в «прямом значении, содержащем максимальную степень абстракции, отвлечения, выражающем единое обобщенное понятие, которое получает внешнюю конкретизацию через контекст или речевую ситуацию» [Маринова 1995: 15]. Семантика такой конструкции всегда определяется значением входящего в нее прилагательного: *А в чело-литной их написано бутто я ... прибѣжал к ним в дрвню нарочным дѣлом для воровства* (МДБП, 106, 1682 г.), *Говорил им тихим обычаем речь, утая от всех людех своих* (Пос. Толочанова, 137, 1651 г.). Особенность таких сочетаний в том, что они включают не просто семантически избыточный, а вообще десемантизированный компонент. Их появление связано с явлением десемантизации или широкозначности и подтверждает тезис о том,

что широкозначность реализуется прежде всего в клишированных моделях [Амосова 1972].

Наконец, отдельно в отношении плеонастических конструкций следует сказать об условно синонимических сочетаниях, представляющих собой фразеологические обороты, состоящие из семантически близких, но не полностью дублирующих друг друга компонентов. Можно выделить несколько групп условно синонимических сочетаний, различающихся и строением, и семантикой. С точки зрения структуры условно синонимические конструкции представляют собой, во-первых, сочинительные словосочетания (два однородных компонента, соединенные сочинительным союзом: *бережно и устрожливо, радость и веселие*), во-вторых, аналогичные сочетания без сочинительного союза (*не знать, не ведать; ни вы́зду ни вы́ходу*), в-третьих, так называемые «парные слова», «сближения синонимов»⁴ («такие соединения двух самостоятельных по форме и по значению слов, принадлежащих к одной и той же части речи, которые при соединении («сближении») как бы сливаются в одно целое и иногда получают дополнительный смысловой оттенок» [Привалова 1958: 55]: *грусть-тоска, правда-истина, глядучись-смотримись*). Структура может варьироваться: так, смысловая близость, но не тождество лексем *правда* и *истина* зафиксирована в языке Московской Руси в устойчивых сочетаниях в виде «парного слова» *правда-истина*, сочинительного сочетания *по самой правде и истине*, атрибутивного оборота *истинная правда*. С точки зрения семантики внутри группы условно синонимических конструкций можно выделить так называемые «квазисинонимы» (парные формулы, хорошо известные в древнерусском языке, состоящие из двух не тождественных друг другу по смыслу компонентов и обладающие целостным, не равным общей семантике компонентов, значением⁵: *честь и слава, радость и веселие, отчич и дедич, злато и серебро*) и собственно синонимические сочетания (*не зачать, не почать; бережно и устрожливо; не знать, не ведать*), в том числе «сближения синонимов» (*грусть-тоска*). К плеонастическим конструкциям относятся прежде всего обороты второго семантического типа, в которых большинство сем первого и второго компонентов совпадает.

Существенно, что в разные периоды существования языка востребованы различные типы плеоназмов и тавтологий, и ряд таких конструкций, известных в современном русском языке, не обнаруживается в истории языка, в частности в русском языке XVI–XVII вв. Например, не известны

⁴ Статус этих образований спорен, они интерпретируются и как сложные слова, и как фразеологизмы.

⁵ Подробно описаны в работах Д. С. Лихачева, Б. А. Успенского, В. В. Колесова, М. В. Пименовой.

в исследуемый период так называемые «тавтологии тождества» (*жизнь есть жизнь, смерть — это смерть*), что подчеркивают и исследователи таких конструкций в современном языке, обращая внимание на то, что в донациональный период «не обнаруживается следов» этих тавтологических конструкций, «они появляются в текстах Нового времени» [Вилинбахова, Копотев 2017: 112]. В этом отношении в перспективе значимо исследование не только известных, но и отсутствующих в диахронии типов плеонастических и тавтологических конструкций с целью установления причин этих языковых фактов. В частности, причиной отсутствия в русском языке XVI–XVII вв. тавтологий тождества, вероятно, является то, что они относятся к «аномалиям речевой деятельности» [Булыгина, Шмелев 1997: 437].

Таким образом, ненормированная лексико-семантическая система языка донационального периода предоставляет богатый материал для изучения феномена языковой избыточности. В русском языке XVI–XVII вв. обнаруживаются различные по структуре и семантике типы плеонастических конструкций, а именно: 1) тавтологические фразеологизмы (*гоньбу гонять, исковый иск*); 2) собственно плеонастические сочетания с семантически избыточным компонентом (*мужняя жена, водяной ключ, вскричать голосом*); 3) расчлененно-описательные конструкции (*середной день, завязочный мастер*), в том числе обороты с широкозначными существительными (*пьяным обычаем, пожарное время*); 4) условно синонимические конструкции (*радость и веселие, правда-истина, не знать, не ведать*). Дальнейшая судьба этих разнообразных сочетаний различна: одни остались маркерами делового языка XVI–XVII вв. (*воровством воровать, затевать ложно, воинские люди*), другие известны в текстах разных эпох, выступая знаком принадлежности контекста к фольклорному или стилизации (*чудо чудное, грусть-тоска*), третьи активно используются как фразеологизмы и в современном русском языке (*мужняя жена, по пьяному делу, истинная правда*).

Источники

А. Солов. м. — Акты Соловецкого монастыря 1572–1584 гг. // Акты социально-экономической истории Севера России конца XV–XVI вв. / Сост. И. З. Либерзон. Л.: 1990.

ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собр. и изд. Археограф. комис. Т. 1–12. СПб.: 1846–1872.

Дипломат.-4 — Русский дипломатарий. Вып. 4. Отв. ред А. В. Антонов. М.: 1998.

Евгеньева А. П. (ред.). Словарь русского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1981–1984.

Ист. Песни — Исторические песни XIII–XVI веков (по спискам XVIII–XX вв.) // Изд. подг. Б. Н. Путилов, Б. М. Добровольский. М.–Л.: 1960.

Леч. Шукина — Указ как лечити больных люди (рукопись ГИМ собр. Шукина № 290).

Лудольф — Лудольф Г. В. Русская грамматика 1696 г. Оксфорд, 1696 // Ларин Б. А. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков. СПб.: 2002. С. 509–658.

МДБП — Московская деловая и бытовая письменность XVII в. / Изд. подг. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М.: 1968.

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 07.03.2023).

Пос. Толочанова — Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию 1650–1652 / документы издал и введением снабдил М. Полиевктов // Международные сношения Грузии с иноземными странами. Т. 1. Тифлис: 1926.

Разг. Фенне — Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian. Pskov. 1607 / Ed. by L. L. Hammerich and R. Jakobson. Vol. 2: Transliteration and Translation. Copenhagen, 1970.

Сл18 — Словарь русского языка XVIII в. СПб.: Наука, 1984–2019. Вып. 1–22. Изд. продолжается.

СОРЯ — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. СПб.: Наука, 2004–2020. Вып. 1–9. Изд. продолжается.

Улож. 1649 г. — Соборное уложение царя Алексея Михайловича. 1649 г. // Памятники русского права. Вып. 6. М.: 1959.

Литература

Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. Л.: Наука, 1972. 220 с.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 576 с.

Васильев А. И. Фразеологическая тавтология в древнерусском языке // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Филологические науки. 2012. № 1. С. 28–33.

Вилинбахова Е. Л., Копотев М. В. «Х есть Х» значит «Х это Х»? Ищем ответ в синхронии и диахронии // Вопросы языкознания. 2017. № 3. С. 110–124.

Генералова Е. В. О развитии значений оттопонимических прилагательных в русском языке (на примере истории лексемы «московский») // Сибирский филологический журнал. 2016. № 3. С. 157–171.

- Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII–XX века. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 348 с.
- Зайц О. А. Семантика и прагматика тавтологий и плеоназмов: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2001. 18 с.
- Ковалева Т. А. Тавтология и плеоназм в отечественном языкознании: интегральный и дифференциальный аспекты // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 2. С. 34–40.
- Крапотина Т. Г. Фразеологизация синтаксических связей в устойчивых сочетаниях тавтологического типа: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моск. пед. ун-т. М., 1996. 16 с.
- Ломов А. Г. Понятие о фразеологической тавтологии // Актуальные вопросы фразеологии. Вып. 2. Самарканд, 1971. С. 13–17.
- Мандрикова Г. М. Слово в процессе десемантизации // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2015. Т. 14. № 2. С. 68–73.
- Маринова Е. Д. Синтаксис и семантика некоторых широкозначных глаголов динамического состояния в английском языке (опыт диахронического исследования): автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Кемеров. гос. ун-т. Иркутск, 1995. 19 с.
- Парахонько Л. В. Разграничение тавтологии и плеоназма // Заметки ученого. 2021. № 4–1. С. 167–175.
- Пименова М. В. Красотою украси: выражение эстетической оценки в древнерусском тексте. СПб.: Филолог. фак-т СПбГУ; Владимир: ВГПУ, 2007. 415 с.
- Привалова М. И. Сложные слова или словосочетания? // Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике / Отв. ред. Б. А. Ларин. Ученые записки ЛГУ им. А. А. Жданова. Серия филологических наук. Выпуск 42: 2. № 243. Л.: изд-во ЛГУ, 1958. С. 53–68.
- Ройзензон Л. М. Русская фразеология. Самарканд: Самаркандский ун-т, 1977. 119 с.
- Светличная В. Ю. К вопросу о разграничении понятий тавтологии и плеоназма // Наука и мир в языковом пространстве: сб. научных трудов V Межд. научной конф. / Ред. Зайченко Н. М. и др. Макеевка, 2019. С. 72–78.
- Флигинских Е. Е. Лингвистическая характеристика образа жены во фразеологических оборотах английского, французского и русского языков // Вестник Марийского государственного университета. 2015. № 2 (17). С. 118–122.

References

- Amosova N. N. *Osnovy angliiskoi frazeologii* [Fundamentals of English phraseology]. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 220 p.
- Bulygina T. V., Shmelev A. D. *Yazykovaya kontseptualizatsiya mira (na materiale russkoi grammatiki)* [Linguistic conceptualization of the world (based on the material of Russian grammar)]. Moscow, Shkola "Yazyki Russkoi Kul'tury" Publ., 1997. 576 p.

- Evgen'eva A. P. *Ocherki po yazyku russkoi ustnoi poezii v zapisyakh XVII–XX veka* [Essays on the language of Russian oral poetry in the records of the 17th–20th centuries]. Moscow, Leningrad, Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1963. 348 p.
- Fliginskikh E. E. [Linguistic characteristics of the image of the wife in the phraseological turns of English, French and Russian]. *Vestnik Mariiskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, no. 2 (17), pp. 118–122. (In Russ.)
- Generalova E. V. [On the development of the meanings of adjectives derived from the name of a toponym in Russian language (on the example of the history of the lexeme “moskovskii”)]. *Sibirskii filologicheskii zhurnal*, 2016, no. 3, pp. 157–171. (In Russ.)
- Kovaleva T. A. [Tautology and pleonasm in Russian linguistics: integral and differential aspects]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya*, 2016, no. 2, pp. 34–40. (In Russ.)
- Krapotina T. G. *Frazeologizatsiya sintaksicheskikh svyazei v ustoyichivyykh sochetaniyakh tautologicheskogo tipa* [Phraseologisation of syntactic links in stable combinations of a tautological type]. Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Moscow, 1996. 16 p.
- Lomov A. G. [The concept of phraseological tautology]. *Aktual'nye voprosy frazeologii* [Topical issues of phraseology]. Issue 2. Samarkand, 1971, pp. 13–17. (In Russ.)
- Mandrikova G. M. [The word in the process of desemantization]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya*, 2015, vol. 14, no. 2, pp. 68–73. (In Russ.)
- Marinova E. D. *Sintaksis i semantika nekotorykh shirokoznachnykh glagolov dinamicheskogo sostoyaniya v angliiskom yazyke (opyt diakhronicheskogo issledovaniya)* [Syntax and semantics of some broad-meaning dynamic state verbs in English (diachronic research experience)]. Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. Irkutsk, 1995. 19 p.
- Parakhon'ko L. V. [Distinguishing tautology and pleonasm]. *Zametki uchenogo*, 2021, no. 4–1, pp. 167–175. (In Russ.)
- Pimenova M. V. *Krasotoyu ukrasi: vyrazhenie ehsteticheskoi otsenki v drevnerusskom tekste* [Decorate with beauty: an expression of aesthetic evaluation in an Old Russian text]. St. Petersburg, Philological Faculty of St. Petersburg State University Publ.; Vladimir, Vladimir State Pedagogical University Publ., 2007. 415 p.
- Privalova M. I. [Compound words or phrases?] *Ocherki po leksikologii, frazeologii i stilistike. Otv. red. B. A. Larin. Uchenye zapiski LGU im. A. A. Zhdanova. Seriya filologicheskikh nauk* [Essays on lexicology, phraseology and style. Scientific notes of Leningrad State University named by A. A. Zhdanov. Series of Philological Sciences]. Issue 42: 2, no. 243. Leningrad, Publishing House of Leningrad State University, 1958, pp. 53–68. (In Russ.)
- Roizenzon L. M. *Russkaya frazeologiya* [Russian phraseology]. Samarkand, Samarkand University Publ. House, 1977. 119 p.
- Svetlichnaya V. Yu. [On the issue of delimitation of the concepts of tautology and pleonasm]. *Nauka i mir v yazykovom prostranstve: sb. nauchnykh trudov V Mezhd. nauchnoi konf.* [Science and the world in the language space: Scientific papers of the V Int. scientific conf.] / ed. by Zaichenko N. M. Makeevka, 2019, pp. 72–78. (In Russ.)

- Vasil'ev A. I. [Phraseological tautology in the Old Russian language]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M. A. Sholokhova. Filologicheskie nauki*, 2012, no. 1, pp. 28–33. (In Russ.)
- Vilinbaxova E. L., Kopotev M. V. [Does “X est’ X” mean “X eto X”? Looking for an answer in synchrony and diachrony]. *Voprosy yazykoznanii*, 2017, no. 3, pp. 110–124. (In Russ.)
- Zaits O. A. *Semantika i pragmatika tautologii i pleonazmov* [Semantics and pragmatics of tautologies and pleonasm]. Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. St. Petersburg, 2001. 18 p.

Имя шута: лубочные персонажи Фарнос, Гонос и Ералаш

Плетнева Александра Андреевна, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
(Россия, Москва), apletneva@list.ru

DOI: 10.31857/S013161170026393-1

АННОТАЦИЯ: В лубочных листах развлекательного характера встречаются персонажи со странными именами. Эти имена не являются ни вариациями на основе христианских имен, ни прозвищами с понятной внутренней формой. В данной статье рассматривается возможное происхождение имен Фарнос, Гонос и Ералаш, их функционирование в лубке и других текстах.

Имя шута Фарнос связано с именем персонажа комедии дель арте Gian Farina, которое было известно в России, в частности, благодаря офортам Жака Калло. Широкое распространение лубков с изображением Фарноса привело к тому, что это имя стало апеллятивом. Слово *фарнос* в значении ‘высокомерный человек, гордец’ фиксирует словарь В. И. Даля. Другой шут — Гонос, вероятно, не имеет определенного иностранного прототипа. Его имя соотносится с представленными в «Словаре русских народных говоров» словами *гоно́ситься* (‘кичиться, проявлять спесь, важничать’) и *гонóсный* (‘гордый, спесивый’). Имя Ералаш произошло из апеллятива *ералаш*. Это слово тюркского происхождения фиксируется с XVIII в. и означает ‘беспорядок, вздор’. Во всех текстах, где встречаются эти шутовские персонажи, функционирование имени определяется рифмой. *Фарнос* и *Гонос* рифмуются со словом *нос*, имя *Ералаш* — со словом *наш*. Фонетические созвучия и ложная этимологизация дают обширный материал для языковой игры и балагурства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история слов, заимствованная лексика, имя собственное, рифма, народная гравюра, лубок, народный театр

для цитирования: Плетнева А. А. Имя шута: лубочные персонажи Фарнос, Гонос и Ералаш // Русская речь. 2023. № 3. С. 55–67. DOI: 10.31857/S013161170026393-1.

From the History of the Russian Language

Jester Names: Lubok Characters *Farnos, Gonos and Yeralash*

Alexandra A. Pletneva, Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow), apletneva@list.ru

ABSTRACT: Some *lubok* prints (cheap popular prints) of an entertaining nature feature characters with strange names. These names are neither variations based on Christian names, nor nicknames with a clear internal form. This article discusses a possible origin of the names *Farnos*, *Gonos* and *Yeralash*, their functioning in *lubok* prints and other texts.

The name of the jester *Farnos* (Rus. *Фарнос*) is associated with the name of the commedia dell'arte character Gian Farina. The latter was known in Russia, in particular, thanks to the etchings by Jacques Callot. The widespread use of *lubok* prints with the image of *Farnos* led to this name becoming an appellative. The word *фарнос* /*farnos*/ is defined in the dictionary by Vladimir Dal as 'an arrogant person, a proudling'. Another jester, *Gonos* (Rus. *Гонос*), probably does not have a foreign prototype. His name correlates with the words *гоно́ситься* /*gono`sit'sya*/ ('to boast, to show arrogance, to flaunt') and *гоно́сный* /*go`nosnyj*/ ('proud, haughty') presented in the Dictionary of Russian Folk Dialects. The name *Yeralash* (Rus. *Ералаш*) originates from the identical appellative. This word of Turkic origin was recorded in the 18th century and means 'mess, nonsense'. In all the texts involving these buffoon characters, the functioning of the name is determined by a rhyme. *Farnos* and *Gonos* rhyme with the word *нос* /*nos*/ ('nose'), the name *Yeralash* rhymes with the word *наш* /*nash*/ ('our, 'ours'). Phonetic consonance and false etymologization provide extensive material for language game and jokes.

KEYWORDS: history of words, borrowed vocabulary, proper name, rhyme, folk engraving, *lubok*, folk theater

FOR CITATION: Pletneva A. A. Jester Names: Lubok Characters *Farnos, Gonos* and *Yeralash*. Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 55–67. DOI: 10.31857/S013161170026393-1.

На лубочных картинках развлекательного содержания некоторые персонажи носят необычные имена. В этой статье речь пойдет о Фарносе, Гоносе и Ералаше. Имена этих персонажей не имеют никакого отношения ни к христианским каноническим именам, ни к народным прозвищам (от последних они отличаются тем, что их внутренняя форма не кажется очевидной).

Как известно, русский игровой лубок неразрывно связан с народным театром¹. Эта связь проявляется в различных аспектах, в частности, в употреблении имен и прозвищ. Театральный персонаж всегда как-то назван. Причем это может быть как имя собственное, так и апеллятив, в контексте пьесы становящийся именем собственным. Так, в пьесе «Барин и Афонька» действуют персонажи, обозначенные в заглавии [Берков (ред.) 1953: 44], в пьесе «Разговор двух министров» — Куракин и Волков [Берков (ред.) 1953: 62], в пьесе «Мнимый барин» — Барин, Барыня, Трактирщик, Лакей, Староста [Берков (ред.) 1953: 53]. Мы видим, что одни персонажи названы христианскими именами или фамилиями, другие — по роду занятий, социальному статусу и т. п. То же самое мы видим и в лубке. Далее я буду ссылаться на лубки, описанные в каталоге Д. А. Ровинского «Русские народные картинки». Персонаж лубка № 113 назван Митя [Ровинский I: 335], на картинке № 121 изображены Ванюшка, Танюшка, Яков Кучер и Кухарка [Ровинский I: 346]. Картинки №№ 137–138 воспроизводят диалоги Жениха и Свахи [Ровинский I: 359–361], а № 120 — монолог Блиницыцы [Ровинский I: 344]. Однако лубочные имена шутов Фарноса, Гоноса и Ералаша не похожи на все перечисленное выше. Эти имена не относятся к христианским именам или фамилиям, не сообщают никакой

¹ Эту связь отмечал М. Ю. Лотман в статье «Художественная природа русских народных картинок». Он выделил те черты лубка, которые объединяют его с театральным представлением. Это изображение на картинке рамп и театрального занавеса, тяготение лубка к комической маске, которая, вероятно, попала в русский лубок через гравюры Калло, особое расположение текста в разных местах листа, что заставляет глаз двигаться по изображению и из статичной картинка становится динамичной, устройство текста как примитивного диалога (как соединения двух или нескольких монологов) [Лотман 1999: 385–391].

специальной информации о персонажах, которые их носят (напр. о возрасте, социальном положении и под.). Все это обуславливает наш интерес к происхождению этих экзотических имен и их функционированию в лубках и других текстах.

Фарнос

Самым популярным персонажем, носящим экзотическое имя, является Фарнос. В издании Д. А. Ровинского Фарнос встречается на нескольких гравюрах. На первой картинке (№ 209 А) Фарнос изображен верхом на свинье, в руках он держит какой-то духовой музыкальный инструмент, на голове у него шутовской колпак². В верхнем левом углу помещен следующий текст³:



Рис. 1. Фарнос.
Народная гравюра
(Ровинский № 209А)

Fig. 1. Farnos.
Folk engraving
(Rovinsky No. 209A)

«я детина не богатой / а имею нос горбатой / собою весма важеватой / зовут меня Фарнос / красной нос, / три дня надувался, / как в танцовальные башмаки обувался, / а колпак с пером надел, / полны штаны набздел, / совсем облокся, / на виноходной свинье поволокся, / а свинья моя хрюкает, / лакомства своего нюхает» [Ровинский IV: 310–311].

В оригинале текст представляет собой запись раешного стиха в строку. Для облегчения чтения мы добавили сюда цезуры.

На второй картинке (№ 112) изображен мужчина в шутовском колпаке с пером и женщина в колпаке, украшенном хвостом или пером, которые покупают у целовальника спиртное. В верхней части листа помещен достаточно объемный текст, который начинается так:

«Брат целовальник, не ты ли Ермак, / что носишь красной валиной колпак, / отдал бы я тебе поклон, / да на самом на мне колпак с хохлом, /

² Такая же фигура изображена на другом листе (№ 102). Это гравюра на дереве середины XVIII в. Здесь изображен шут, играющий на волынке, внешне очень похожий на Фарноса, изображенного на упомянутом выше листе. При этом имени персонажа на листе нет [Ровинский I: 317].

³ Здесь и далее лубочные тексты цитируются в упрощенной орфографии.

знавал ли ты Фарноса? / Желает ли ты посмотреть краснова моево носа? / Жену мою Пигасью видал ли ты? / Вести такие про нас слышал ли ты?» [Ровинский I, 334].

Далее речь идет о том, что Фарнос и Пигасья накануне пропили в кабаке все деньги, при этом хорошо повеселились и впредь готовы поступать так же.

На третьем из интересующих нас лубков (№ 209) Фарнос изображен в виде сидящего музыканта с гудком (смычковым музыкальным инструментом) в руках и в шутовском колпаке на голове. Это наиболее «русифицированное» изображение Фарноса и, видимо, наиболее позднее по времени изготовления из известных нам (согласно Ровинскому, этот лубочный лист выпущен между 1820 и 1830 годами). Здесь перед нами не европейский шут, а, скорее, музыкант-скоморох. В нижней части листа помещен текст, из которого, в частности, мы узнаем, как зовут этого музыканта:

«Здравствуйте, почтенные господа, / я приехал к вам музыкант сюда, / не дивитесь на мою рожу / что я имею у себя не очень пригожу, / а зовут меня молотца Петруха Фарнос, / потому что у меня большой нос. / Три дни надувался, / в танцавалны башмаки обувался, / а как в танцавалное платье совсем оболокся, / к девушкам и поволокся. / На шее я ношу поношеную трепицу, / а сам наигрываю в скрипицу, / на жопе держу ворону, / от камаров оборону, / к тому ж я из жопы дух испущаю, / тем себя от них и защищаю. / Натура моя всегда так пробавляетца, / в кабаке вином с бабами забавляется» [Ровинский I: 439].

Обращает на себя внимание, что в этом тексте главный герой назван не просто Фарносом, а Петрухой Фарносом. Исследователи XIX в. высказывали предположение, что лубочный герой Фарнос — пародия на шута Анны Иоанновны Pietro Mira, известного в русской истории как Педрилло [Ровинский V: 270]. Уже в XXI в. история российских гастролей Pietro Mira была описана в статье Марио Корти, посвященной итальянской музыке в Петербурге XVIII в. [Corti 2005]. В русскую культурную традицию Педрилло (Pietro Mira) вошел как шут, а не как музыкант. Соотнесение Петра (Петрухи) Фарноса и Pietro Mira действительно напрашивается, тем более что на двух первых из описанных нами картинок Фарнос имеет черты европейского шута или итальянского комедианта. Однако на картинках, соотносимых с европейскими гравюрами, Фарнос не назван Петрухой. А на той картинке, где изображен Петруха Фарнос, мы видим музыканта-скомороха, а не европейского шута. Так что предположение о его связи с шутом Анны Иоанновны следует отметить как маловероятное.

Возвращаясь к первым двум картинкам, на которых изображен европейский шут, можно сказать, что это приехавший издалека музыкант и актер, у него большой красный нос, он любит веселиться, его интересуют вино и женщины. Фарнос одет в шутовскую одежду: колпак с пером или с бубенчиками. У него есть ворона, и он ездит на «виноходной свинье»⁴. В том, что этот персонаж попал в народную гравюру под влиянием европейского театра, сомневаться не приходится. Но остается вопрос, было это влияние непосредственным или опосредованным. Говоря о происхождении этого персонажа, Д. А. Ровинский предполагал, что Фарнос пришел непосредственно из итальянской пантомимы [Ровинский V: 269]. На наш же взгляд, здесь уместнее говорить не о непосредственном влиянии уличных представлений, а о гравюрах на темы итальянского народного театра. В серии офортов Жака Калло *I Balli di Sfessania*, созданной в 1621–1622 гг., имеется лист, на котором изображен *Gian Farina*. Мы склонны связывать имя Фарноса с именем Жана Фарины (франц. *Jean Farine*, итал. *Gian Farina*), персонажем комедии *дель арте*. В лубочной версии актуальной становится не мука, которой белили лица персонажи европейского народного театра (*farina*, *farine* — с итальянского и французского ‘мука’), а большой нос, с которым рифмуется русифицированная версия имени. Фонетические ассоциации *Фарнос* — *нос* всячески обыгрываются. В результате имя *Фарина* превращается в созвучное со словом *нос* имя *Фарнос*⁵.

Появившись под влиянием имени персонажа комедии *дель арте*⁶ и получив широкое распространение благодаря лубочным текстам, имя *Фарнос* стало прочно ассоциироваться с культурой балагурства и шутовства.

⁴ *Виноходная свинья* — это свинья, которая идет на запах вина. Например, наездник, сидящий на свинье, держит перед ее носом сосуд с вином на длинном шесте. На нашей картинке Фарнос повесил сосуд с вином на свою дудку, а в лубке «Баба Яга дерется с крокодилом» сама баба Яга едет на *виноходной свинье*, а «скляница с вином» стоит рядом, «под кустом» [Ровинский I: 134].

⁵ Следует отметить, что трансформация звучания имени в связи с использованием его в рифмованных текстах не уникальное явление. Интересным в этом отношении является трансформация имени *Riciulina* с гравюры Калло в имя *Арина* в лубке. Это превращение интересно не только тем, что исходное имя и его лубочная трансформация рифмуются. *Ричулина* на гравюре-оригинале танцует, а в лубочных текстах *Арина/Аринка* — это имя танцующей женщины. В ряде лубков, содержащих рифмованные тексты, слово *волынка* рифмуется с именем *Аринка* («Надувай друг скорее волынку а я тот час позову плясать подругу свою Аринку» [Ровинский I: 317]; «Мышь Аринка играет в волынку» [Ровинский I: 391]; «Мышь татарская Аринка тош наигрывает в волынку» [Ровинский I: 397]). *Аринка/Арина* стала танцующим или играющим на волынке персонажем именно под влиянием устойчивой и повторяющейся из текста в текст рифмы.

⁶ В интернет-публикациях встречаются утверждения о том, что имя Фарнос пришло из идиша (עָרְנוֹס «парнос» — «заработок»), однако ни лингвистических, ни исторических подтверждений это предположение не имеет. В популярных публикациях также встречается утверждение, что Фарнос ведет свою родословную от итальянского персонажа Пьетро Фарноса. Однако итальянскому народному театру персонаж с таким именем неизвестен.



Рис. 2. Fracischina и Gian Farina.
Из серии офортов Жака Калло
«I Balli di Sfassania» (1621–1622)

Fig. 2. Fracischina and Gian Farina.
From the series of etchings by Jacques Callot
«I Balli di Sfassania» (1621–1622)

Так, в одном из многочисленных лубочных «Погребений кота» среди шутовской погребальной процессии мышей появляется мышка Фарносик: «Мышка Фарносик красный носик растоптала лапти ознобила лапки»⁷ [Ровинский I: 399].

Слово *Фарнос* появляется не только в лубке. *Фарнос* как апеллятив встречается в словаре Даля, где толкуется как 'высонос, гордец'. К нему в гнездо добавляется пара женского рода *фарноска* и слово *фарносый*, которое толкуется как 'курносый' [Даль IV: 1133]⁸. По Далю получается,

⁷ О связи лубка «Погребение кота» со скоморошьей и шутовской культурой см. [Плетнева 2021: 106–109].

⁸ Что касается возможности превращения имени *Фарнос* в апеллятив, то тут нужно вспомнить другого комедийного персонажа. Имя самого популярного персонажа кукольного народного представления Петрушки не ассоциируется с христианским именем *Петр*, а тяготеет к апеллятиву. Петрушка — это кукла в красном платье с длинным носом. Национальный корпус русского языка дает значительное количество употреблений слова *петрушка* как имени нарицательного. Например: «Во-первых, он хоть и бывший домовладелец, но сейчас работает, *петрушек* выпиливает и этим только и кормится» (И. И. Катаев. Сердце. 1928); «И как прав, с другой стороны, Художественный театр, который, в погоне за мало-мальским успехом "представления", переполнил некоторые сцены шаржированными донельзя карикатурами на живых людей, заставив их говорить голосами балаганных *петрушек*» (А. В. Живаго. Дневник. 1908) и др. Характерно, что современный русско-итальянский словарь дает омонимы — *петрушка* как название растения (*prezzemolo*) и *петрушка* как театральная кукла, которая соотносится с *pulcinella* и *burattino* [Канестри 2011: 427].

что *фарнос* — это человек, у которого кончик носа направлен вверх, то есть либо человек с курносым носом, либо гордец. В любом случае толкование идет с опорой на внутреннюю форму слова, на вычленение компонента *-нос*.

Фарнос, *фарноска* и *фарносый* есть и в «Словаре русских народных говоров». Значения этих слов те же, что и в словаре Даля. *Фарнос* здесь толкуется как 1) ‘человек со вздернутым носом’ 2) ‘заносчивый человек’. *Фарноска* имеет только отсылку к словарю Даля, без уточнения значения, локации и времени. Слово *фарносый* толкуется как ‘курносый, с некрасивым вздернутым носом’ [Мызников (гл. ред.) 2016: 62]. Все фиксации относятся к середине XIX в. Можно заключить, что во второй половине XVIII — первой половине XIX в. имя *Фарнос* из популярного в народе и имеющего большие тиражи лубка вошло в городское просторечие в качестве имени нарицательного. Фонетический облик имени *Фарнос* провоцировал ассоциации, с одной стороны, со словами *заноситься*, *заносчивый*⁹, а с другой — со словом *курносый*, что и определило семантическую историю слова. Именно употребление в городском просторечии могло быть зафиксировано Далем.

Фарнос из лубка перебирается и в маргинальные литературные тексты. Хотя его литературная жизнь была довольно короткой, мы все же можем привести два примера. Так, это имя появляется в приписываемой Ивану Баркову порнографической пьесе «Дурносов и Фарнос» [Барков 1992: 276–318]. Нужно сказать, что Фарнос — не единственный персонаж, перекочевавший в эту пьесу из лубка. Среди действующих лиц мы видим *Миликрису*, имя которой, несомненно, навеяно именем *Милитрисы* — матери Бовы-королевича из одноименной лубочной сказки. К сказке о Бове некоторым образом отсылает и имя другого персонажа пьесы — *Щелкопера*. Хотя появившееся в XVIII в. слово *щелкопер* [Виноградов 1994: 78] было хорошо известно во времена Баркова, мы видим здесь также и отсылку к лубочной сказке, одним из героев которой был Лукопер. Лубочная сказка о Бове-королевиче выдержала много переизданий, ее герои были хорошо известны. Имена *Милитрисы* и *Лукопера* однозначно отсылали к истории о Бове. Поэтому созвучные им *Миликриса* и *Щелкопер* также должны были отсылать читателя к популярной лубочной литературе.

Имя *Фарнос*, точнее фамилия (или прозвище) *Фарносый*, встречается в «Повести о днях моей жизни» И. Е. Вольнова [Вольнов 1914: 66]. Фарносый — эпизодический персонаж, то есть для Вольнова это не говорящая фамилия, а самая обыкновенная.

⁹ В «Словаре русских народных говоров» зафиксировано также слово *заносливый*, которое среди других значений имеет значения ‘заносчивый’ и ‘глупый, ненормальный, говорящий глупости’ [Филин (гл. ред.) 1974: 284].

Гonos

Гonos — родной брат Фарноса. У него также большой нос, в лубке он прямо назван «дураком», он одет в полосатый костюм шута и, как положено шуту европейского происхождения, ходит с вороной. Облик Гоноса очень близок длинноносым комическим персонажам, изображенным на офортах Калло, хотя установить конкретный прообраз этого персонажа не удастся.

На гравированной картинке, где изображен Гonos (№ 209 Б), приводится следующий текст:

«У меня дурака имя Гоноса, / тяшко и велико бремя носа. / Брада власами аки лес густая, / а голова мозгом что дупло пустая, / в кавтан аз облекся полосаты, / а пуговицы на нем узловаты, / исчириками купно смазные, / но и пуговицы на них вырезные. / В путь аз ноги свои приуговляю, / и бич долги коню своему являю, / дабы конь мой бежал не спотыкался / и шпорами в ребра не ударялся, / а за плечами сию ворону ношу, / пения слаткаго от оныя прошу, / зане глас ее зело преслатки, / но токмо пребывает кратки» [Ровинский IV: 311].

Имя *Гonos* так же, как и имя *Фарнос*, рифмуется со словом *нос*, что определяет его функционирование как шутовского имени. *Гonos* соотносится с представленными в «Словаре русских народных говоров» словами *гоноситься* ('кичиться, проявлять спесь, важничать' [Филин (гл. ред.) 1972: 9]) и *гонобный* ('гордый, спесивый' [Филин (гл. ред.) 1972: 9]). Значения этих слов переликаются со значениями упомянутого выше апеллятива *фарнос* и образованного от него прилагательного *фарносый*. Однако картинки с Фарносом, по всей вероятности, были более распространенными в народной среде и имя шута Фарноса было известно лучше, чем имя Гоноса, что и привело к появлению апеллятива и его словарной фиксации. Слово *гонос* и его производные, в отличие от *фарнос*, в словарях не встречаются.



Рис. 3. Гonos.
Народная гравюра
(Ровинский № 209Б)

Fig. 3. Gonos.
Folk engraving
(Rovinsky No. 209B)

Ералаш

Ералаш как имя собственное встречается на трех лубочных картинках (№№ 206, 207, 208). В алфавитном указателе к изданию Ровинского [Ровинский V: 420] рядом с именем *Ералаш* стоит пояснение «дурацкая



Рис. 4. Ералаш.
Народная гравюра
(Ровинский № 207)

Fig. 4. Yeralash.
Folk engraving
(Rovinsky No. 207)

персона», то есть коллекционер и издатель лубка не сомневался в том, что *Ералаш* — это имя собственное. Сам Ералаш везде изображен по-разному, но все три картинки объединены темой алкоголя. На картинке № 206, которая обозначена Ровинским как копия с иностранного оригинала, Ералаш — это продавец водок в голландском костюме. Картинка сопровождается текстом: «Так-то наш Ералаш за торг принимает-ся, / винцом забавляется / надел на плеча корзину, / а сам кричит рот розиня: / у меня в корзине всякия вотки, / кто охотник пить, прочищайте глотки» [Ровинский I: 438]. На картинке № 207 Ералаш

изображен в шутовском костюме, он держит в руках кувшин, из которого пьет вино. Подпись следующая: «Наш Ералаш всегда так пробавлялся / искляницы винцом забавлялся» [Ровинский I: 438]. На картинке № 208 Ералаш изображен стариком с длинной бородой, который одной рукой обнимает женщину в русском костюме, другой подвигает к себе кувшин с вином. Картинка подписана так: «Наш Ералаш сулит молодежи два гроша / чтоб перебила в бороде все воши, / Ералаш наш» [Ровинский I: 439]. Кроме темы алкоголя, эти тексты объединяются внутренней рифмой «наш — Ералаш». Как и в предыдущих случаях, рассмотренных в этой статье, рифма-дразнилка «наш — Ералаш» оказывается объединяющей словесной формулой, которая лежит в основе разных текстов. Имя с рифмующимся словом оказываются фундаментом, на котором могут строиться разные здания.

Слово *ералаш* тюркского происхождения, означает 'неразбериха, смесь, соединение, путаница, смятение'. В словаре М. Фасмера приводятся также диалектные формы *яралаш*, *ярлаш*, *арлаш* и добавляется новое значение 'игра в вист' [Фасмер II: 22]. «Словарь русского языка XVIII века» фиксирует для этого слова значение 'беспорядок, вздор' и снабжает его пометами: «новое слово» и «простонародное». В качестве примера приводится реплика Феклы из комедии В. В. Капниста «Ябеда»: «От коль в головушку твою такой содом, сумбур и ералаш явился?» [Сорокин (гл. ред.) 1992: 79].

«Словарь русских народных говоров» дает слова *ералашить* и *ералашничать* ('приводить в беспорядок'; 'говорить вздор, молоть чепуху'), *ералашный* ('беспокойный, подвижный, озорной'), *ералаш* ж. р. (1) 'беспорядок', 2) 'бессмыслица, вздор, чепуха') [Филин (гл. ред.) 1972: 364]. В словаре В. Даля есть еще одно значение: 'смесь разнородного сахарного сухого варенья, в одном слитке'. Но что для нас более важно, у Даля в гнезде слова *ералаш* есть слово *ералашник* со значением 'кто говорит либо производит ералаш: бестолковый рассказчик или исполнитель' [Даль I: 1297]. Именно последнее, вероятно, соединяет употребления слова *ералаш* как нарицательного и как имени собственного. *Ералаш* оказывается подходящим именем для персонажа сенок и уличного балагурства.

* * *

Мы видим, что имена лубочных шутов имеют разное происхождение и разную историю бытования. Имя *Фарнос*, вероятно, имело европейские корни. Но за сто лет из имени дурака и шута оно под влиянием фонетических ассоциаций стало апеллятивом со значениями 'гордец с задраным вверх носом' и 'курносый человек'. При этом, судя по пьесе, приписываемой Баркову, связь Фарноса с лубком осознавалась довольно отчетливо. Фигура Гоноса также восходит к европейской шутовской культуре. Однако его имя имеет другое происхождение. В виду ограниченности материала делать однозначные выводы здесь невозможно. Но можно предположить, что фонетический облик этого имени опирался на диалектные или просторечные слова и для создателей лубочного текста имя *Гонос* было более понятным и очевидным, чем *Фарнос*. Иную историю имеет шутовское имя *Ералаш*. Изначально слово *ералаш* было апеллятивом, характерным для городского просторечия. Его значение 'вздор, чепуха' актуализовало использование слова как имени «дурацкой персоны», то есть шута.

Объединяющим моментом в функционировании имен этих трех шутовских персон является рифма. Имена *Фарнос* и *Гонос* рифмуются со словом *нос*, имя *Ералаш* со словом *наш*. Эти рифмы появляются в каждом тексте, где встречаются наши персонажи, а фонетические созвучия и ложная этимологизация дают обширный материал для языковой игры и балагурства. В заключении отметим, что словесное балагурство и использование рифм-дразнилок достаточно широко представлено в устной народной речи. Здесь уместно привести пример из современной художественной литературы. В повести Г. Ш. Яхиной «Эшелон на Самарканд» имеется отдельная глава, посвященная «поэтическому творчеству» беспризорников, которые любили «собственными силами придуманные

рифмы» [Яхина 2021: 254–256]. Рифмованное обыгрывание имен занимает в этом творчестве значительное место. Так, про комиссара поезда по фамилии *Белая* дети говорят: «Белая, Белая, / Дура ты дебелая» и «Белая — баба спелая, / Только уж больно очумелая». Так же обыгрывается и имя начальника поезда: «Начальник поезда удостоился лишь рифмованных кличек — однообразных и преимущественно неприличных: Деев-Елдеев, Деев-Мандеев, Деев-Обалдеев... Клички пользовались популярностью. За глаза Деева только так и называли, с привеском» [Яхина 2021: 255–256]. Таким образом, мы видим, что практика фольклорного рифмования имен собственных вошла и в литературу XXI в.

Источники

Барков И. С. Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / Сост., подгот. текстов, статьи, примечания А. Зорина, Н. Сапова. М.: Ладомир, 1992. 416 с.

Берков П. Н. (ред.). Русская народная драма XVII–XX веков. Тексты пьес и описания представлений / Редакция, вступительная статья и комментарии П. Н. Беркова. М.: Государственное издательство «Искусство», 1953. 354 с.

Вольнов И. Е. Повесть о днях моей жизни. Крестьянская хроника. «Прометей» Н. Н. Михайлова, СПб., 1914. 270 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. СПб. — Москва: Издание Товарищества М. О. Вольф, 1903–1909.

Канестри А. Б. Новый большой русско-итальянский словарь. М.: Дрофа; Русский язык — Медиа, 2011. 832 с.

Ровинский Д. А. Русские народные картинки. Т. I–V. СПб., 1881.

Яхина Г. Ш. Эшелон на Самарканд. М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. 507 с.

Литература

Виноградов В. В. История слов. М.: Толк, 1994. 1138 с.

Лотман Ю. М. Художественная природа русских народных картинок // Мир народной картинки. [ГМИИ им. А. С. Пушкина: Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1997». Вып. 30.] М.: Прогресс-традиция, 1999. С. 384–396.

Мызников С. А. (гл. ред.). Словарь русских народных говоров. Вып. 49. СПб.: Наука, 2016. 350 с.

Плетнева А. А. Кого хоронят мыши? К интерпретации лубочной картинки «Мыши кота погребают» // Slověne. International Journal of Slavic Studies. 2021. Т. 10. С. 97–123.

- Сорокин Ю. С. (гл. ред.). Словарь русского языка XVIII в. Вып. 7. СПб.: Наука, 1992. 264 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка Т. I–IV / Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Т. II. М.: Прогресс, 1986. 671 с.
- Филин Ф. П. (гл. ред.). Словарь русских народных говоров. Вып. 7. Л.: Наука, 1972. 353 с.; Вып. 8. Л.: Наука, 1972'. 369 с.; Вып. 10. Л.: Наука, 1974. 388 с.
- Corti M. La musica italiana nel Settecento a San Pietroburgo Philomusica. Vol. 4. No. 1 (2005) [Электронный ресурс]. URL: http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/04-01-COM01/25#_ftn3 (дата обращения: 31.12.2022).

References

- Corti M. La musica italiana nel Settecento a San Pietroburgo Philomusica, 2005, vol. 4, no. 1. Available at: http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/04-01-COM01/25#_ftn3 (accessed 31.12.2022).
- Fasmer M. *Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka* [Etymological dictionary of the Russian language]. Vol. I–IV. Transl. from German and add. by O. N. Trubachev. Moscow, Progress Publ., 1986. 671 p.
- Filin F. P. (ch. ed.). *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Iss. 7. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 353 p.; Iss. 8. Leningrad, Nauka Publ., 1972'. 369 p.; Iss. 10. Leningrad, Nauka Publ., 1974. 388 p.
- Lotman Yu. M. [Artistic content of Russian folk pictures]. *Mir narodnoi kartinki. GMI im. A.S. Pushkina: Materialy nauchnoi konferentsii "Vipperovskie chteniya – 1997"* [Pushkin State Museum of Fine Arts: Proceedings of the scientific conference "Vipper Readings – 1997". Issue 30]. Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 1999, pp. 384–396. (In Russ.)
- Myznikov S. A. (ch. ed.). *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Iss. 49. St. Petersburg, Nauka Publ., 2016. 350 p.
- Pletneva A. A. [Whom are the mice burying? The interpretation of the lubok print *The Mice Are Burying the Cat*]. *Slověne. International Journal of Slavic Studies*, vol. 10, no. 2, pp. 97–123. (In Russ.)
- Sorokin Yu. S. (ch. ed.). *Slovar' russkogo yazyka XVIII v.* [Dictionary of the Russian language of the 18th century]. Iss. 7. St. Petersburg, Nauka Publ., 1992. 264 p.
- Vinogradov V. V. *Istoriya slov* [The history of words]. Moscow, Tolk Publ., 1994. 1138 p.

Рукоприкладство: от ‘собственноручной подписи’ до ‘нанесения побоев’

Татьяна Семеновна Садова¹, Дмитрий Владимирович Руднев²,
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург,

¹tatsad_90@mail.ru; ²rudnevdm@mail.ru

DOI: 10.31857/S013161170026394-2

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается история семантического преобразования сложного слова «рукоприкладство» — от значения ‘собственноручная подпись’ в деловом языке средневековой Руси до значения ‘нанесение побоев, избиение’ в современном русском языке. Существительное «рукоприкладство», производное от устойчивого сочетания «руку приложить», обозначало символическое закрепление делового текста при помощи наложения ладони, предварительно намазанной чернилами, на чистый лист, обратную сторону документа. Подчеркивается, что средневековое представление русского человека о государстве как «доме» во главе с «отцом-государем» наложило своеобразный отпечаток на делопроизводство допетровской Руси. Так, надежность делового текста обеспечивалась, с одной стороны, свидетельством ближайших родственников или уважаемых людей рода (послухов), с другой стороны, — неписаными законами христианской морали. Со времени Петра I, ориентированного на западные образцы устройства «государственной машины», многие деловые формулы навсегда переселяются в общенациональный язык, приобретая новые значения, мотивированные исходной семантикой их лексических компонентов. Без исторического экскурса в «ритуальные» особенности этого обязательного действия при скреплении деловой сделки и, как следствие, без рассмотрения функционирования сочетания «руку приложить»

в деловой письменности допетровской и постпетровской России невозможно проследить содержательную эволюцию слова «рукоприкладство» до современного его значения ‘нанесение побоев руками’. История выражения «руку приложить» и слова «рукоприкладство» — как в приказном языке, так и в общерусском бытовании — свидетельствует об истории русского делового языка как отдельного культурного феномена, имеющего свою уникальную судьбу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деловой стиль, история деловой формулы, *приложить руку, рукоприкладство*, историческая стилистика

для цитирования: Садова Т. С., Руднев Д. В. *Рукоприкладство*: от ‘собственно-ручной подписи’ до ‘нанесения побоев’ // Русская речь. 2023. № 3. С. 68–79. DOI: 10.31857/S013161170026394-2.

благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-012-00338).

From the History of the Russian Language

Rukoprikladstvo (‘Manhandling’): from ‘Handwritten Signature’ to ‘Beating’

Tatyana S. Sadova¹, Dmitrii V. Rudnev², St. Petersburg State University (Russia, St. Petersburg),

¹tatsad_90@mail.ru; ²rudnevd@mail.ru

ABSTRACT: The article discusses the history of the semantic transformation of the compound word *rukoprikladstvo* (‘**manhandling**’) — from the meaning ‘handwritten signature’ in the business language of Medieval Russia to the meaning ‘beating’ in the modern common Russian language. The word *rukoprikladstvo*, derived from the stable combination *ruku priložit* (‘set one’s hand to’), denoted the symbolic confirmation of an official text by placing a palm, previously smeared with ink, on a blank sheet, the reverse side of the document. The article stresses that the medieval idea of a Russian person about the state as a ‘house’ headed by a ‘father-sovereign’ left a peculiar

imprint on the office work of pre-Petrine Russia. Thus, the reliability of the content of a business text was ensured, on the one hand, by the testimony of the closest relatives or respected people of the clan ('poslukhi') and on the other hand by the unwritten laws of Christian morality. Since the time of Peter the Great, who was oriented towards Western models of the 'state machine', many official formulas have forever moved into the national language, acquiring new meanings motivated by the original semantics of their lexical components. Without a historical digression into the 'ritual' features of this obligatory action when sealing a business transaction and, as a result, without considering the functioning of the combination *ruku prilozhit'* ('put a hand') in the official writing of pre-Petrine and post-Petrine Russia, it is impossible to trace the meaningful evolution of the word 'rukoprikladstvo' to its modern meaning 'inflict hand beatings'. The history of the expression *ruku prilozhit'* ('set one's hand to') and the word *rukoprikladstvo* — both in the command language and in common Russian life — testifies to the history of the Russian official language as a separate cultural phenomenon with its own unique destiny.

KEYWORDS: official style, history of the official formula, *prilozhit' ruku* (put a hand), *rukoprikladstvo*, historical style

FOR CITATION: Sadova T. S., Rudnev D. V. *Rukoprikladstvo* ('Manhandling'): from 'Handwritten Signature' to 'Beating'. Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 68–79. DOI: 10.31857/S013161170026394-2.

ACKNOWLEDGEMENTS: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project 20-012-00338).

История некоторых слов и выражений современного языка, истари возникших в недрах деловой речи и по разным причинам покинувших ее, порой весьма поучительна и по-своему интересна. Зачастую она демонстрирует процесс развития деловой сферы общения как отдельного культурного феномена, имеющего свою уникальную судьбу, напрямую связанную с особым типом взаимоотношений людей — деловых взаимоотношений.

Показательна в этом смысле содержательная эволюция некогда устойчивого сочетания «руку приложить» ('подписать'), которое довольно скоро трансформировалось в существительное «рукоприкладство» ('нанесение побоев руками'), бытующее сегодня как в литературном языке

в целом, так и в юридическом подъязыке в частности, правда за пределами официальной терминологии.

*В ведомстве подчеркнули, что у полицейского не было законных оснований для **рукоприкладства** (Житель Забайкальского края скончался после избиения в отделе полиции // Vesti.ru. 11.2020¹).*

Очевидно, что без рассмотрения социокультурных условий, при которых сформировалось значение устойчивого оборота «приложить руку», невозможно понимание семантической эволюции его производного — сложного слова «рукоприкладство».

Не однажды отмечалось, что деловое общение в допетровской Руси носило преимущественно характер «семейственный», а отношения в государстве во многом строились согласно принципу «домашнего управления», отражавшему зрелое средневековое представление о государстве-доме во главе с родителем-государем [Садова, Руднев 2018; Руднев, Садова 2020]. В этих условиях надежность торговой сделки или любого договора подтверждалась прежде всего своеобразным «общественным свидетельством». Поэтому подписи договаривающихся лиц на документах, фиксирующих различные деловые взаимоотношения, зачастую не ставились, достаточно было указать имена «послухов», то есть свидетелей этой сделки:

А на то радѣць и послушь давидѣ лукънѣ сынѣ сътъпанѣ таишьнѣ. Грб № 366, 40–70 XIV; А на то послуи князь юрьии гльбовичѣ белзьскии. панѣ ота пилецькии староста русьскоѣ земль. Гр 1368 (ю.-р.) [СлДРЯ, 7: 249].

Разумеется, высокий социальный статус послуха, его родовой (общинный) авторитет обеспечивал более надежный и крепкий договор, поэтому в роли свидетелей часто выступают князья, старейшины, уважаемые (родовитые) люди.

Показательны в этом отношении и старые закрепительные формулы, принятые в документах допетровского времени, которые выражали осознанную ответственность договаривающихся сторон перед неписаными законами христианской морали. Одна из них, зафиксированная, например, в документе 1699 года, имеет следующий вид: «вправду по святой непорочной евангельской заповеди господина еже ей-ей» [Русанова 2012: 73]. Иными словами, наряду со свидетельством двух-трех членов рода, скрепляющих деловой договор, налицо и действие законов

¹ Далее примеры, извлеченные из Национального корпуса русского языка (НКРЯ), не имеют специального указания на источник.

«нравственного самоконтроля» [Русанова 2012: 74], принятых в религиозном общинном государстве-доме. По мысли средневекового человека, такой «двухуровневый патронат» обеспечивал абсолютную надежность совершаемой сделки.

Одновременно с таким «внутрисемейным» договорным общением торговые люди, вступавшие в различные внешние (с «чужими») деловые отношения, вместо отсылок к постулатам церковной морали предпочитали закреплять договоры либо именной печатью (влияние западно-европейской торговой и государственной традиции) [Мошкова 2015], либо особым действием — приложением обмазанной чернилами ладони к документу, причем — к обратной, чистой, стороне листа, чтобы «видны были величина руки, ее склад, покррой» [Лакиер 1855: 183].

Так буквальное описание действия, скрепляющего деловую договоренность, стало устойчивым формульным выражением, впоследствии расширившим свое реальное значение и в конце концов ставшим полноценным канцеляризмом со значением 'личной подписи'.

*Къ сей памяти язъ Иванъ **руку приложилъ*** (Сказка Ивана Юрьевича Сабурова из розысчного дела о неплотии великой княгини Соломонии Юрьевны, 23.11.1525 [АИ, 1: 192]).

В разное время и в разных ситуациях личная подпись и оттиск руки существовали как два реальных «личных свидетельства», закрепляющих содержание документа. Причем в случае безграмотности одного из договаривающихся лиц вновь «вспоминались» послухи-свидетели, обязанные за него «приложить руку». В качестве доверенных послухов могли выступать либо духовники этого безграмотного человека, либо его родственники — «семеиственный характер» сделок таким образом подчеркивался особенно отчетливо. Вот как об этом говорится в специальном указе царя Михаила Федоровича: «За безграмотного должны прикладывать руку или духовные отцы их или, если у кого не будет близко духовного отца или случится с ним вражда, ближние родственники, братья родные или племянники» [Неволин 1851: 52].

В XVIII в. выражение «приложить руку» по-прежнему означает личную подпись, причем появляются и первые номинализированные варианты этого сочетания — «приложение рук», «прикладывание рук»:

*...и тем пороховым промышленникам Его Великаго Государя указ сказать с **прикладыванием рук**...* [ПСЗРИ-1, 4: 781] (1712 г.);

*...и в тех описных местах обывателям всякаго чина людям велеть объявить Царскаго Величества указ с **приложением рук**, дабы о том ведали* [ПСЗРИ-1, 6: 172] (1720 г.).

Из примеров видно, что подпись ставится не только под текстом, в котором отражаются договорные (или иные) обязательства владельца подписи, но и под государевым документом, с которым данное лицо пришлось ознакомиться. С петровской эпохи до сегодняшних дней сохраняется правило ставить личную подпись под распорядительным документом как свидетельство того, что подписывающий ознакомлен с его содержанием.

Примечательно, что сложное слово «рукоприкладство» как один из трансформированных вариантов сочетания «руку приложить», появившийся позже остальных («рукоприложение» и «рукоприкладывание»), постепенно их вытесняет и уже во времена Екатерины II становится наиболее употребительным:

*...повелели Мы: учиня Сенату экстракт за надлежащим **рукоприкладством**, представить Нам, который и поднесен...* [ПСЗРИ-1, 18: 987] (1769 г.).

Именно в екатерининскую эпоху слово «рукоприкладство» в значении личной подписи получает статус специального делового термина, о чем свидетельствует показательная помета, сопровождающая толкование слова «рукоприкладство» в «Словаре Академии Российской» — «приказное речение» [САР, 5: 209].

Кажется, что от канцелярского «документно-реквизитного» значения личной подписи до общеязыкового значения, связанного с 'нанесением побоев', — огромное расстояние, однако словом «рукоприкладство» оно было пройдено достаточно быстро, и во многом — благодаря широкому ряду лексико-семантических вариантов, имеющих у обоих лексических компонентов устойчивого сочетания «приложить руку», и, как следствие, — у соответствующих корней сложного слова «рукоприкладство».

Глагол «приложить» комплексом значений, объединенных общей семантической отнесенностью к идее приближения, прикосновения, тесного и плотного присоединения, очень быстро стал выявлять эти качественно-акциональные оттенки, вовлекаясь в широкое семантическое поле «участия, содействия в чем-либо», поэтому выражение «приложить руки» уже к началу XIX в. стало активно использоваться для обозначения 'основательного, серьезного занятия <...> чем-либо' [Молотков 1987: 356]:

*Искусный правитель мог бы их исправить; стоит только **приложить** хорошенько к нему **руки**, и он заменил бы нам Флоренцию и Ниццу* (Ф. Ф. Вигель. Записки. 1850–1860).

Негативно-оценочная семантика этого сочетания, производная от предыдущей, как кажется, стала возможной, в том числе, благодаря одному из социально-оценочных значений слова «рука» ('протекция'), т. е. развитие общего значения этого выражения пошло по пути актуализации смы 'действовать предосудительно':

*Таким образом, в лице последнего к сему похвальному делу **приложила руку** «полтавская бюрократия» (В. Г. Короленко. Сорочинская трагедия (по данным судебного расследования). 1907).*

Сложное же слово «рукоприкладство» никогда подобного значения не имело, однако взамен ему развивало другое, основанное на исходном образе наложения руки сверху вниз на лист бумаги в процессе скрепления сделки. Семы 'прикосновения', 'движения руки сверху вниз', 'плотного и усиленного отпечатывания ладони на бумаге', видимо, позволили сложному слову «рукоприкладство» развить «агрессивное» значение, хорошо знакомое современному носителю русского языка, — 'нанесения побоев руками'. Поэтому «рукоприкладство» — частый «гость» правовых сводок, служебных протоколов, других документов юридической сферы, а также публицистических текстов, фиксирующих преступления, связанные с избиением, физическим насилием:

*Дело дошло до **рукоприкладства**: в какой-то момент зять избил старика (Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру // lenta.ru. 07.2019);*

*Ранее в Главной военной прокуратуре отчитались об увеличении количества случаев **рукоприкладства** военных командиров (В Госдуме нашли причину дедовщины в армии // lenta.ru. 11.2019).*

«Рукоприкладство» в значении 'подпись' употребляется довольно долго, вплоть до конца XIX в., причем не только в деловой сфере, но и в обыденной жизни. Не случайно поэтому, что в словаре В. И. Даля «рукоприкладство» в этом значении стилистически никак не отмечено [Даль 2003: 109]. Однако уже к началу XX в. очевидно ощущалась архаичность этого значения слова, восходящего к стародавнему времени, породившему ритуальное прикладывание руки к важной деловой бумаге, о чем, например, свидетельствует эпитет «старинный» в характерном контексте 1903 года:

*Поэтому-то очень часто масонские акты скрепляются не подписью, а **старинным рукоприкладством**, то есть договаривающиеся смазывают какой-нибудь краской, цвета крови, себе пальцы и прикладывают их к рукописи (М. Н. Волконский. Слуга императора Павла. 1903).*

Заметим в связи с этим, что в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова первое значение слова «рукоприкладство» сопровождается толкованием, прямо указывающим на его «дореформенное» бытование, а потому имеет характерные пометы: «1. В дореформенных <...> судах своеручная подпись под судебным решением с указанием удовлетворения или недовольства им (**офиц., истор.**)» [Ушаков 1939: 702].

В словарях русского языка второй половины XX в. — нач. XXI в. при значении 'собственноручная подпись' помета «устар.» будет присутствовать неотлучно. Любопытно также и то, что в словаре Ушакова второе значение слова фиксируется как разговорное, ироничное («2. Битье руками, оскорбление действием (разг., ирон.)» [Ушаков 1939: 702]), в последующих же словарях оно почти повсеместно будет сопровождаться пометой «разг.», а «экспрессивные» пометы исчезнут:

«**Рукоприклáдство**. 1. *Устар.* Засвидетельствование чего-л. подписью. <...> 2. *Разг.* Нанесение побоев руками» (Словарь русского языка) [Евгеньева (ред.) 1988: 740] .

«**Рукоприкладство**. 1. *Устар.* 1) Собственноручная подпись под заключением следствия или под судебным решением с указанием удовлетворения или недовольства им <...>; 2) Скрепление подписью какого-л. документа. 2. *Разг.* *Битье руками, оскорбление действием*» [Ефремова].

«**Рукоприкладство**. *Разг.* *Нанесение побоев (руками)*» (Большой толковый словарь) [Кузнецов (ред.)].

Очевидно, семантическая эволюция слова «рукоприкладство» не была строго последовательной: указанные значения в определенный период — с конца XIX до первой четверти XX в. — сосуществовали и не исключали друг друга. Однако стилистическая сниженность «рукоприкладства» в значении 'нанесение побоев' ощущалась всегда, потому-то в словаре Даля, впервые зафиксировавшем оба значения, присутствует при нем характерная помета — «шутливое» [Даль 2003: 109], а контексты, в которых оно использовалось, рисовали, как правило, картины неприглядной (бытовой, повседневной) жизни:

Прислушиваясь к рассказу Савелия, Тарас Ермилыч несколько раз хмурил брови и покачивал головой, а когда рассказ дошел до рукоприкладства генеральши, он засмеялся (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Верный раб. 1891); *Он был очень горяч с прислугой своею и доходил с ней до рукоприкладства* (П. А. Вяземский. Старая записная книжка. 1830–1870); *К сожалению, как я упоминал, он был крайне нервен и во время особых припадков нервности не мог удержаться от рукоприкладства* (Д. Подшивалов. Из «Воспоминаний кавалергарда». 1904).

Возможно, промежуточным этапом в становлении современного значения ('нанесение побоев, избивание руками') оказалось время, когда слово «рукоприкладство», находясь в процессе активной детерминологизации, ухода из деловой речи, стало развивать сему 'прикосновения, приближения', близкую к той, что имелась в сочетаниях, где глагол «приложить/-ся» занимал устойчивую позицию, близкую фразеологической. Так, «рукоприкладством» могли назвать церемониальное целование руки — «приложиться к руке/ручке»:

*Подходя поочередно к ручкам дам, он как-то особенно молодецкато вывертывал локоть и шаркал ножкой <...>. Стороженко совсем растерялся и, кое-как докончив **церемонию «рукоприкладства»**, искал спасения в мужском лагере* (В. П. Авенариус. Гоголь-студент. 1898).

Фиксируется употребление существительного «рукоприкладство» и в значении 'рукопожатие':

*Отец и директор опять совершили **рукоприкладство**, после чего директор забормotal* (М. А. Воронов. Детство и юность. 1862).

Правда, это были единичные случаи, больше похожие на языковую игру, однако мотивировка использования слова «рукоприкладство» в этих значениях была вполне оправданной и ясной.

Любопытно, что в неофициальном юридическом языке доньше сохраняется слово «рукоприкладчик», имеющее отдельное толкование в некоторых словарях юридических терминов, правда с характерной припиской о том, что термином это слово не является: «Рукоприкладчик — человек, который содействует оформлению совершенной сделки, подписывая ее за лицо, лишенное возможности это сделать в силу физических недостатков, болезни или иных причин. Непосредственно в законодательстве РФ термин р. не употребляется» [Большой юридический словарь].

Устойчивая формула «руку приложить», сжавшись до слова «рукоприкладство», не менее трех веков была свидетелем и свидетельством особой формы скрепления договорных обязательств между людьми, вступившими в деловые отношения. Отпечаток ладони на бумаге был своеобразным залогом прочности достигнутых договоренностей вплоть до сер. XIX в. Но деловая речь уже со времен Екатерины II «отпустила» это слово в общенациональный язык, в котором оно, развивая вторичные значения, прежде всего стало актуализировать исходные семантические возможности обоих компонентов некогда устойчивого выражения («руку приложить»).

Глагол «приложить» в значении 'плотно присоединить' в сочетании со словом «рука» вдруг обнаружил возможность обозначать агрессивное действие — 'избивание руками'. Не следует игнорировать и возможность

влияния разговорного языка на семантику детерминологизированного слова, поскольку во многих русских говорах глагол «приложить» имеет близкое значение — 'побороть, убить' [СРНГ, 31: 269].

Слово «рукоприкладство» в этом значении оттенок разговорности в современном русском литературном языке еще сохраняет, однако его активное употребление в текстах СМИ и специальной юридической литературе, скорее всего, стилистические ограничения с него снимет. Символично, что в словаре С. И. Ожегова оно отмечено в единственном значении 'нанесение побоев' и никакими пометами не сопровождается [Ожегов 1990: 686].

Источники

АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею: в 5 т. СПб.: в Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841–1842. Т. 1. 614 с.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscorpora.ru>

ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 года. Т. 1–45. СПб.: Тип. 2-го отделения собств. Е. И. В. канцелярии, 1830.

САР — Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный: в 6 ч. СПб., 1789–1794.

СлДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 7: (Поклепань — пращоурь). М.: Московская тип. № 2, 2004. 505 с.

Литература

Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://gufo.me/dict/law/>
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 2003. Т. 3. 688 с.

Евгеньева А. П. (ред.). Словарь русского языка: в 4-х т. М.: Русский язык, 1985–1988. Т. 3. 1987. 751 с.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000 [Электронный ресурс]. URL: <https://lexicography.online/explanatory/efremova>

Кузнецов С. А. (ред.). Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2004. 1534 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://gufo.me/dict/kuznetsov>

Лакиер А. Б. Русская геральдика: в 2 кн. СПб.: В типографии I-го отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1855. Кн. 1. 304 с.

- Молотков А. И. Фразеологический словарь русского языка. М.: Русский язык, 1987. 543 с.
- Мошкова Л. В. Рукоприкладства на грамотах XV – первой трети XVI в. (предварительные наблюдения) // Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 12–19.
- Неволин К. А. История российских гражданских законов: в 5 т. СПб.: В тип. Имп. Акад. наук, 1851. Т. 2. 513 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. 917 с.
- Руднев Д. В., Садова Т. С. От челобитной до заявления, или Как формировался язык общения властью (на материале просительных документов XVII–XX вв.) // Язык. Право. Общество / Под ред. О. В. Барабаш, Н. А. Павловой, А. В. Александровой. Пенза: Изд-во ПГУ, 2020. С. 28–32.
- Русанова С. В. Трансформация приказной памяти в условиях преобразования регионального делопроизводства в первой половине XVIII века // Вестник Бурятского гос. ун-та. 2012. № 10. С. 70–74.
- Садова Т. С., Руднев Д. В. Метафора государства и государственный язык // Языковая норма. Виды и проблемы / Ред. Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, С. В. Друговейко-Должанская и др. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. С. 174–182.
- Словарь русских народных говоров (СРНГ): в 49 вып. Л.; СПб.: Наука, 1965–2016. Вып. 31, 1997. 434 с.
- Ушаков Д. Н. (ред.). Толковый словарь русского языка: в 4 т. М.: Советская энциклопедия, 1935–1940. Т. 3. 1939. 715 с.

References

- Bol'shoy yuridicheskiy slovar'* [Big law dictionary]. Available at: <http://durnowo.livejournal.com> (accessed 22.06.2022).
- Dal' V. I. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikoruskogo yazyka v 4 t.* [Explanatory dictionary of the living Great Russian language in 4 vols.]. Moscow, Russian Language Publ., 2003, vol. 3. 688 p.
- Efremova T. F. *Novyy slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyy* [New dictionary of the Russian language. Explanatory derivational]. Moscow, Russian Language Publ., 2000. Available at: <https://lexicography.online/explanatory/efremova> (accessed 22.06.2022).
- Evgenieva A. P. (ed.). *Slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [Dictionary of the Russian language in 4 vols.]. Moscow, Russian Language Publ., 1985–1988, vol. 3, 1987. 751 p.
- Kuznetsov S. A. (ed.). *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Big explanatory dictionary of the Russian language]. St. Petersburg, Norint Publ., 2004. 1534 p. Available at: <https://gufo.me/dict/kuznetsov> (accessed 22.06.2022).
- Lakiyer A. B. *Russkaya geraldika v 2 knigakh* [Russian heraldry in 2 books]. St. Petersburg, The Printing House of the 1st Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery Publ., 1855. Book 1, 304 p.

- Molotkov A. I. *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Phraseological dictionary of the Russian language]. Moscow, Russian Language Publ., 1987. 543 p.
- Moshkova L. V. [Handwritten signatures on letters of the 15th – first third of the 16th century (preliminary observations)]. *Otechestvennyye arkhivy*, 2015, no. 4, pp. 12–19. (In Russ.)
- Nevolin K. A. *Istoriya rossiyskikh grazhdanskikh zakonov v 5 t.* [History of Russian civil laws in 5 vols.]. St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences Publ., 1851, vol. 2. 513 p.
- Ozhegov S. I. *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian language]. Moscow, Russian Language Publ., 1990. 917 p.
- Rudnev D. V., Sadova T. S. [From a petition to a statement, or how the language of communication was formed by the authorities (based on petition documents of the 17th–20th centuries)]. *Yazyk. Pravo. Obshchestvo* [Language. Right. Society]. Penza, Penza State University Publ., 2020, pp. 28–32. (In Russ.)
- Rusanova S. V. [Transformation of chancery memory in the context of the transformation of regional office work in the first half of the 18th century]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2012, no. 10, pp. 70–74. (In Russ.)
- Sadova T. S., Rudnev D. V. [Metaphor of the state and the state language]. *Yazykovaya norma. Vidy i problemy* [Language norm. Types and problems]. St. Petersburg, Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen Publ., 2018, pp. 174–182. (In Russ.)
- Slovar' russkikh narodnykh govorov v 49 t.* [Dictionary of Russian folk dialects in 49 issues]. Leningrad; St. Petersburg, Nauka Publ., 1965–2016. Issue 31, 1997. 434 p.
- Ushakov D. N. (ed.). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [Explanatory dictionary of the Russian language in 4 vols]. Moscow, Soviet Encyclopedia, 1935–1940, vol. 3, 1939. 715 p. (In Russ.)

Отец и его семья (Жанровое своеобразие рассказа Л. Петрушевской «Новые Робинзоны», 1989)

Олег Андершанович Лекманов, Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Узбекистан, Ташкент), lekmanov@mail.ru

DOI: 10.31857/S013161170026400-9

АННОТАЦИЯ: В статье идет речь о жанровом своеобразии программного рассказа Людмилы Петрушевской «Новые Робинзоны». Этот впервые опубликованный в 1989 году рассказ маскируется под робинзонаду, антиутопию и образчик деревенской прозы (с ее преклонением перед крестьянами и крестьянками дореволюционного времени), однако истинная цель Петрушевской гораздо более амбициозна: рассказ представляет собой инвариант библейской истории о возрождении человечества после глобальной катастрофы. На жанр робинзонады прямо указывает само заглавие рассказа. Элементы антиутопии вычленяются в рассказе с помощью анализа текста. Легко обнаруживаются в рассказе и интертекстуальные отсылки к прозе писателей-деревенщиков (в первую очередь Александра Солженицына и Валентина Распутина). К библейским источникам отсылает ключевая фраза рассказа «Новые Робинзоны»: «Были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода». В этом свете становится понятно, почему Петрушевская, как бы мимоходом, сообщает, что отец рассказчицы когда-то повредил «ногу в бедре» и навсегда остался хромым: ногу в бедре во время борьбы с Богом когда-то повредил библейский Иаков, который, как и отец рассказчицы, большую часть жизни провел в бегах и от которого в итоге произошло двенадцать колен еврейского народа.

О. А. Лекманов. Отец и его семья (Жанровое своеобразие рассказа Л. Петрушевской «Новые Робинзоны», 1989)

O. A. Lekmanov. Father and His Family (Genre Originality of L. Petrushevskaya's Story "The New Robinsons", 1989)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Петрушевская, робинзонада, антиутопия, библейская история

для цитирования: Лекманов О. А. Отец и его семья (Жанровое своеобразие рассказа Л. Петрушевской «Новые Робинзоны», 1989) // Русская речь. 2023. № 3. С. 80–86. DOI: 10.31857/S013161170026400-9.

The Language of Fiction

Father and His Family (Genre Originality of L. Petrushevskaya's Story "The New Robinsons", 1989)

Oleg A. Lekmanov, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
(Uzbekistan, Tashkent), lekmanov@mail.ru

ABSTRACT: The article deals with the genre originality of Lyudmila Petrushevskaya's story "The New Robinsons". The story, first published in 1989, masquerades as a Robinsonade, a dystopia, and a sample of village prose (with its admiration for the peasants and peasant women of pre-revolutionary times), but the true goal of Petrushevskaya is much more ambitious: the story is an invariant of the biblical story about the rebirth of humankind after a global catastrophe. The very title of the story directly indicates the genre of robinsonade. One can easily single out elements of dystopia in the story with the help of text analysis, as well as intertextual references to the prose of village writers (mainly, Alexander Solzhenitsyn and Valentin Rasputin). The key phrase of the story "The New Robinsons" refers to biblical sources: "There was a boy and a girl for the continuation of the human race." In this light, it becomes clear why Petrushevskaya, seemingly casually, reports that the narrator's father once injured "in the thigh" and remained forever lame. It is a reference to Jacob, who was once injured "in the thigh" when he fought with God. He, just like the narrator's father, spent most of

his life on the run, and was the one, from whom the twelve tribes of the Jewish people eventually originated.

KEYWORDS: Petrushevskaya, robinsonade, dystopia, biblical story

FOR CITATION: Lekmanov O. A. Father and His Family (Genre Specifics of L. Petrushevskaya's Story "The New Robinsons", 1989). Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 80–86. DOI: 10.31857/S013161170026400-9.

В рассказе Людмилы Петрушевской используются и при этом дискредитируются сразу три жанровые модели.

На первый жанр прямо указывает заглавие рассказа. Это жанр робинзонады, кроме самого произведения Дефо очень ярко представленный в мировой литературе, например романом Жюль Верна «Таинственный остров». Робинзон упоминается не только в заглавии рассказа Петрушевской, но и один раз в тексте. Отец рассказчицы попросил старуху Анисью «нарисовать соху», а затем «стал, совсем как Робинзон, сколачивать какую-то штуку» [Петрушевская 1993: 147]. Совершенно очевидно, впрочем, что рассказ «Новые Робинзоны» не просто выбивается из ряда других робинзонад, а отчетливо, хотя и не прямо им противопоставляется. Герои робинзонад оказываются в новых для них условиях не по своей воле, тоскуют по цивилизованному, населенному людьми миру и при первой возможности в этот мир возвращаются. Персонажи рассказа Петрушевской покидают цивилизованный мир по собственному желанию и возвращаться не собираются ни при каких условиях: «Мой отец, бывший спортсмен, турист-альпинист, геолог, повредивший ногу в бедре, давно жил жадой уйти, и тут обстоятельства совпали с его все развивающейся манией бегства, и мы бежали, когда все еще было безоблачно» [Петрушевская 1993: 148].

Единственный персонаж «Новых Робинзонов», который первоначально грустит об оставленной цивилизации, — это восемнадцатилетняя рассказчица, признающаяся: «Мы жили далеко от мира, я сильно тосковала по своим подругам и друзьям» [Петрушевская 1993: 145]. В одном из фрагментов рассказа она констатирует: «За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками с толстыми пальцами на руках, с толстыми грубыми ногтями, в которые въелась земля» [Петрушевская 1993: 148]. Тем не менее в ее речи изредка еще мелькают обороты, избыточающие в рассказчице девочку из интеллигентской среды. В частности, она иронически цитирует

«Памятник» Пушкина: «У Тани *не зарастала народная тропа*, у нее топились печка» [Петрушевская 1993: 142]. Однако и рассказчица понимает, что в бегстве от прежнего мира заключается для ее семьи единственная возможность выживания. «Новые Робинзоны» завершаются многозначительной фразой: «Мы с отцом осваиваем новое убежище» [Петрушевская 1993: 150].

Второй жанр, который часто вспоминают, когда речь заходит о «Новых Робинзонах», — это антиутопия. Но законы и этого жанра Петрушевская в рассказе систематически и последовательно нарушает. Если в антиутопиях («Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла, «Обитаемый остров» Аркадия и Бориса Стругацких и других) социальное и технологическое устройство тоталитарного общества описывается детально, на многих страницах, Петрушевская намеренно ограничивается смутными полунамеками.

Читатель так и не узнает, какая именно катастрофа и почему произошла во внешнем мире. В первом предложении рассказа говорится: «в начале всех дел» [Петрушевская 1993: 141] — каких дел? Затем сообщается, что «все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши» [Петрушевская 1993: 143] — а какими были «наши времена» и почему они такими были? Затем героиня рассказывает о путешествии с матерью за козочкой в деревню, расположенную за десять километров от места проживания семьи: «Мы шли как бы туристы, как бы гуляя, как будто времена остались прежними» [Петрушевская 1993: 144] — а почему времена не остались прежними? Затем следует зловещий фрагмент: «оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы, спасти не может ничто кроме удачи» [Петрушевская 1993: 145] — а какова была эта общая судьба и от чего труд не мог спасти? Потом рассказывается, что по радио, которое изредка слушал отец, «передавалось все очень лживое и невыносимое» [Петрушевская 1993: 145]. Затем следует самое конкретное в рассказе, но все равно очень размытое описание последствий свершившейся катастрофы: «Оказалось, что наш дом занят какой-то хозкомандой, у огорода стоит часовая, у Анисьи свели козу в тот же наш бывший дом» [Петрушевская 1993: 149]. А в финале связь семьи с внешним миром обрывается: «Отец однажды включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батареи, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза: ему опять удалось бежать!» [Петрушевская 1993: 150].

Наконец, третья жанровая модель, которая пробует на прочность и деформируется в «Новых Робинзонах», — это повествование о навсегда отходящей в прошлое размеренной крестьянской жизни, олицетворенной

в образе деревенской старухи или старика. Детально разработана эта модель была прозаиками-деревенщиками (в первую очередь Валентином Распутиным и Василием Беловым), которые любили противопоставлять славное патриархальное прошлое России современной и агрессивной советской действительности.

Три старухи (Анисья, Марфутка и Таня), появляющиеся в зачине рассказа Петрушевской, почти с неизбежностью напоминают читателю о трех старухах (Дарье, Настасье и Симе) из второй главки знаменитой повести Распутина «Прощание с Матерой» (первая публикация в 1976 году). А предметный мир, которым окружила себя одна из старух Петрушевской — Анисья, и целый ряд обстоятельств ее биографии легко спроецировать на вещный мир и события из жизни старухи Матрены — героини программного рассказа Александра Солженицына «Матренин двор» (1959). Обе испытывают затруднения с получением пенсии, обе держат кошку и козу, и, соответственно, обе запасают для козы траву. Отметим, что и в «Матренином дворе», и в «Новых Робинзонах» возникает мотив добывания торфа (у Солженицына этот мотив один из сквозных; у Петрушевской: «отец сходил и нарубил в лесу торфа» [Петрушевская 1993: 141]).

Очевидно, тем не менее, что ни одна из трех старух, изображенных в «Новом Робинзоне», не может претендовать на воплощение образа прекрасной России прошлого, хотя бы потому, что Петрушевская совершенно не склонна к их идеализации и о каждой сообщает что-нибудь неприятное или даже страшное. Пусть об одной из старух, Анисье, и говорится в финале рассказа: «у нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний» [Петрушевская 1993: 150], однако ни «народная мудрость» Анисьи, ни ее «знания» ни в коей мере не свидетельствуют о ее особом, характерном лишь для деревенских жителей *нравственном кодексе* (курсивом выделена ключевая для писателей-деревенщиков категория). Петрушевская совершенно неслучайно вводит в рассказ эпизод, ярко обрисовывающий самую суть личности Анисьи и совершенно непредставимый в изображавшей русских старух-праведниц прозе деревенщиков: «Анисья, видимо, злилась на то, что мы тратим картофель на Марфутку, а не на покупку молока, она не знала, сколько мы извели картофеля на Марфуткин огород в голодное весеннее время (месяц май — месяц ай), и воображение у нее работало, как мотор. Видимо, она прорабатывала варианты Марфуткиного скорого конца и рассчитывала снять урожай за нее и заранее сердилась на нас, владельцев посаженного картофеля» [Петрушевская 1993: 143].

Но если главные герои рассказа Петрушевской не собираются возвращаться в цивилизованный мир (как в робинзонадах), не пытаются бороться с тоталитарным государством (как в антиутопиях) и не мечтают

о слиянии с патриархальным крестьянским миром (как в деревенской прозе), то какова их цель? Зачем они покинули город с «генеральскими потолками» квартиры родителей отца рассказчицы [Петрушевская 1993: 148], а потом и деревню и сознательно отделили себя от всего остального человечества?

На первый взгляд, ответ на этот вопрос очень простой: «Чтобы выжить после глобальной катастрофы». Однако этот ответ явно недостаточен. Во-первых, как мы помним, отец «давно», то есть еще до всякой катастрофы, «жил жадой уйти» от людей. А во-вторых, желание выжить совершенно не объясняет, зачем мать впускает в «свой круг» (название еще одного рассказа Петрушевской), то есть в круг семьи, двух найденых — сначала девочку, а потом мальчика. Когда мать берет девочку, рассказчица комментирует это так: «Маме всегда было больше всех надо, отец злился» [Петрушевская 1993: 147], но и отец со временем принял девочку, а потом (и тоже не без сопротивления) мальчика: «Отец, который притерпелся к Лене и даже приходил к нам днем кое-что поделывать по хозяйству, тут ахнул» [Петрушевская 1993: 148].

Именно ответ на вопрос: «Что “было” “надо” матери семейства?», как представляется, помогает понять, какова была главная цель «новых Робинзонов», не сразу проявившаяся даже для отца.

Прямой ответ на этот вопрос как бы между делом (самое важное у многих писателей очень часто говорится как бы между делом и теряется в подробностях) дается в финале рассказа Петрушевской. Процитируем ключевой, на наш взгляд, фрагмент «Новых Робинзонов», выделив этот ответ курсивом: «Зима замела снегом все пути к нам, у нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, картофель с отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки с заброшенных в лесу усадеб, даже бочонок солевых огурцов и помидоров. На делянке, под снегом укрытый, рос озимый хлеб. Были козы. *Были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода*, кошка, носившая нам шалых лесных мышей, была собака Красивая, которая не желала этих мышей жрать, но с которой отец надеялся вскоре охотиться на зайцев» [Петрушевская 1993: 150].

Таким образом, заветная цель сначала матери, а потом и всей семьи состоит ни больше, ни меньше, как в создании годных условий «для продолжения человеческого рода» или его возрождения, в том случае, если остальное человечество уже самоуничтожилось и члены семьи рассказчицы «действительно остались одни на свете».

Теперь становится понятно, почему Петрушевская, опять же, как бы мимоходом, сообщает, что отец рассказчицы когда-то повредил «ногу в бедре» [Петрушевская 1993: 148] и навсегда остался хромым. Ведь ногу в бедро во время борьбы с Богом когда-то повредил библейский Иаков,

который, как и отец рассказчицы, большую часть жизни провел в бегах и от которого в итоге произошло двенадцать колен еврейского народа.

То есть текст, маскирующийся под робинзонаду, антиутопию и образчик деревенской прозы, в итоге предстает аналогом мифологической библейской истории.

Литература

Петрушевская Л. С. По дороге бога Эроса. Проза. М.: Олимп — ППП, 1993. 336 с.

References

Petrushevskaya L. S. *Po doroge boga Erosa. Proza* [On the road of the god Eros. Prose]. Moscow, Olimp — PPP Publ., 1993. 336 p.

Цитирование как прием рефлексии в повести К. Д. Воробьева «Вот пришел великан...»

Ольга Викторовна Марьина, Ирина Николаевна Островских,
Алтайский государственный педагогический университет (Россия, Барнаул), marina_olvik@mail.ru,
irina.ostro@yandex.ru

DOI: 10.31857/S013161170026402-1

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются полные и трансформированные цитаты в повести К. Д. Воробьева «Вот пришел великан...», которые выступают средством рефлексии субъекта говорящего, отражают его состояние в зависимости от ситуации, взаимодействия с партнерами по коммуникации.

При воспроизведении исходных текстов учитываются следующие параметры: ситуация (подготовленная/неподготовленная), состояние говорящего субъекта — рассказчика (постоянное/временное/спонтанное; эмоциональное/безэмоциональное), обстановка речи (официальная/неофициальная).

Устанавливается, что в анализируемом тексте представлен широкий спектр цитат, из которых преобладают аллюзии и реминисценции. Появляясь в речи героя-рассказчика, они передают его отношение к окружающим, ситуации в целом, описывают его состояние. Отмечается, что есть несколько авторов (Л. Андреев, А. Блок, С. Есенин, Э. Хемингуэй) и исходных текстов («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и др.), которые вызывают «особое расположение» говорящего субъекта — их использование обусловлено его мироощущением и пониманием себя в мире. При этом творческая натура героя — писателя —

не позволяет ему останавливаться, он находится в постоянном поиске себя, будущих сюжетов, меняет «маски», что вызывает появление различных цитатных включений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цитирование, цитатные включения, аллюзия, реминисценция, автоцитата, рефлексия

для цитирования: Марьина О. В., Островских И. Н. Цитирование как прием рефлексии в повести К. Д. Воробьева «Вот пришел великан...» // Русская речь. 2023. № 3. С. 87–101. DOI: 10.31857/S013161170026402-1.

The Language of Fiction

Quoting as a Reflection Technique in K. D. Vorobyov's Novella “Here Comes the Giant...”

Ol'ga V. Mar'ina, Irina N. Ostrovskikh, Altai State Pedagogical University (Russia, Barnaul),
marina_olvik@mail.ru, irina.ostro@yandex.ru

ABSTRACT: The article analyzes full and transformed quotations, which act as a means of reflecting on the subject of a speaker, indicate his state depending on the situation and interaction with communication partners.

When reproducing the original texts in K. Vorobyov's story “Here Comes the Giant...”, the following parameters are taken into account: the situation (prepared / unprepared), the state of the speaking subject — the narrator (permanent / temporary / spontaneous; emotional / unemotional), speech environment (official / unofficial).

It is established that the analyzed text contains a wide range of quotations, where allusions and reminiscences predominate. So, appearing in the speech of the hero-narrator, they convey his attitude towards others, situations in general and describe his state. It is noted that there are several authors (L. Andreev, A. Blok, S. Yesenin, E. Hemingway) and source texts (“The Ingenious Hidalgo Don Quixote of La Mancha”, etc.), which cause a ‘special disposition’ of the speaker's subject — their use due to his attitude

and understanding of himself in the world. At the same time, the creative nature of the hero — the writer — does not allow him to stop, he is in constant search of himself, future plots and changes his “masks”, which causes the appearance of various citation inclusions.

KEYWORDS: citation, quotation inclusions, allusion, reminiscence, autocitation, reflection

FOR CITATION: Mar'ina O. V., Ostrovskikh I. N. Quoting as a Reflection Technique in K. D. Vorobyov's Novella "Here Comes the Giant...". Russian Speech = Russkaya Rech'. 2023. No. 3. Pp. 87–101. DOI: 10.31857/S013161170026402-1.

Изучение цитат, цитирования — процесс, предполагающий знание претекста (первичного текста, чужого текста, чужого слова). Понимание текста-основы (исходного текста, претекста) позволяет филологу интерпретировать произведение, рассматривать взаимодействие источников и решать намеченные исследовательские задачи. Работа по выявлению, определению, изучению функционирования цитат ведется в нескольких направлениях. Одно из них связано с установлением границы между полной цитатой и измененной, редуцированной. В данном случае обсуждаются вопросы, касающиеся их тождества и различия. Если под цитатой понимать часть (в широком смысле) от целого текста, то любое цитатное включение можно считать редуцированным; если наблюдается сокращение цитаты, имеющей обобщенное значение, широко известной, также стоит говорить об ее усечении. Однако полной цитатой она называется потому, что ее лексическая и структурная составляющие не меняются во вторичном тексте по сравнению с текстом первичным.

Вызывает научную дискуссию вопрос о трансформированных цитатах, квазичитатах, прецедентных текстах, аллюзиях и реминисценциях. Их либо противопоставляют друг другу, либо не находят между ними принципиальных различий, либо используют по отношению к ним один термин [подробнее об этом см.: Лушникова 1995; Пьеге-Гро 2008; Слышкин 2000; Фатеева 2000, 2007 и др.]. Особое внимание исследователи цитатных включений уделяют установлению их функций в тексте. Исходя из того, к какому литературному направлению/течению относится произведение, где оказывается цитата, что «называется» цитатой (цитата — заголовков произведения или его части; цитата — имена героев и др.), может меняться ее значение. Нельзя не учитывать, что «за всем» в тексте стоит

автор, следовательно, и в раскрытии образа автора, личности говорящего цитата играет определенную роль [подробнее об этом см.: Ананьина 2021; Борунов 2016; Земская 1996; Караулов 2010; Москвин 2015; Пучнина 2017; Суперанская 2007; Туова 2015 и др.].

В данной статье обращается внимание на разные по семантике и структуре цитаты как прием рефлексии — это полные цитаты (в том числе автоцитаты) и трансформированные цитаты (аллюзии и реминисценции) от одного слова до нескольких предложений / текста. Использование цитат напрямую соотносится с типом повествования и позволяет субъекту, от лица которого сообщается о фактах и событиях, демонстрировать свое место в мире, соотносить себя с другими, объяснять свои поступки и их мотивы, взглянуть на себя со стороны. Кроме того, цитирование указывает на «избыточность» литературного текста, понимаемую как своеобразное осложнение, вносящее в произведение дополнительные смыслы, дающее возможность «знающему» читателю глубже понять героя [Хатямова 2008: 12], что в случае с анализируемой повестью К. Д. Воробьева «Вот пришел великан...» становится актуальным, так как герой-рассказчик — человек творческий, желающий посвятить себя писательству, окончивший Литературный институт, работающий в издательстве.

Цель исследования — определить, как полные и трансформированные цитаты, используемые в речи рассказчика, отражают его состояние в зависимости от ситуации; какие цитатные включения оказываются для него «незыблемыми», а какие обусловлены обстановкой речи, учитывающей не только место и время, но и участников коммуникации.

Константин Дмитриевич Воробьев (1919–1975) — тонкий русский писатель, фронтовик, один из ярких представителей «лейтенантской прозы», лауреат премии А. И. Солженицына (2001 г.). Большинство его произведений — о Великой Отечественной войне и плене, через которые автору пришлось пройти. Творчество Воробьева по стилистике и языку отличается от большинства произведений «лейтенантской прозы», как и сам автор, который при жизни был несколько маргинален: долго находился в плену, потом жил в Латвии, его неохотно печатали. Писатель и критик Д. Л. Быков так пишет о Воробьеве: «Я уже рассказывал о том, как сценарист Валерий Залотуха посвятил меня в Тайное общество любителей Константина Воробьева: люди, читавшие его, опознавали друга друга мгновенно» [Быков]. Собрание сочинений Воробьева вышло только в постперестроечное время. В последние десятилетия заметен интерес к творчеству писателя: в печати появляются статьи и диссертационные исследования, посвященные главным образом его военным текстам [Тарасенко 2007; Джувейр 2013; Цепляева 2018 и др.].

Повесть о любви «Вот пришел великан...», в отличие от достаточно изученной военной прозы, редко становилась объектом исследования литературоведов, критика же приняла ее неоднозначно, хотя тот же Быков причислил повесть к «нежнейшим и мощнейшим текстам».

Повесть была опубликована в 1971 г. в журнале «Наш современник». Сюжет ее вполне традиционен для мировой литературы: герой-рассказчик (начинающий писатель Антон Кержун) полюбил замужнюю женщину (редактора областного издательства Ирену Лозинскую), героиня не смогла уйти от мужа, герой уехал из города. При всей банальности сюжета повесть необычна: герои — «взрослые сироты», дети большого террора, потерявшие родителей, скитавшиеся по детдомам и спецприемникам. Ирена, дочь репрессированного комбрига, вынуждена была выйти замуж в шестнадцать лет за пожилого «тюремщика» Волобуя. Любовь тридцатилетних героев похожа на первую любовь подростков, и ведут они себя зачастую как подростки: глуповато и трогательно-нелогично.

Кержун и Лозинская говорят на одном языке, прекрасно понимая друг друга: они не просто работают в издательстве, а «живут» в литературе, бесконечно цитируют классиков: от Л. Толстого и А. Чехова до Ж.-Ж. Руссо и Я. Ивашкевича. Такое разнообразие продиктовано литературными пристрастиями героя-рассказчика и, вероятно, самого автора.

Название повести К. Д. Воробьева — это реминисценция на рассказ Л. Андреева «Великан». Монотонная, повторяемая около десяти раз фраза *«Вот пришел великан, большой, большой великан. Такой большой, большой. Вот пришел он, пришел <...> Вот пришел он... и упал! Понимаешь, взял и упал!»* [Андреев 1971: 156] в тексте Л. Андреева — это звучит как заговор или заклинание (так причитала мать над умирающим ребенком) — лейтмотив предсмертного, жизни «на волоске», непреходящей тревоги. Ребенок из рассказа «Великан» находится в пограничном состоянии. В непростой, неразрешимой ситуации оказываются и герои повести К. Воробьева. Лозинская пребывает в смятении (никак не может сделать выбор, боится), а Кержун повторяет эту «мантру», чтобы «заговорить судьбу», уберечь от беды себя и любимую. Кроме того, эпиграфом к повести К. Воробьева служит цитата из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо: *«Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом»* [Воробьев 1987: 274], — которая включает в себе цель автора повести вообще и рассказчика в частности, для последнего это способ высказаться предельно искренне, исповедаться перед читателем.

Предназначение Антона Павловича Кержуна — рассказчика текста повести Воробьева, по его собственному мнению, — писать. Само имя героя предопределяет его занятие. Как А. П. Чехов, Кержун собирает материал,

работает, путешествуя. Первый отправляется на Сахалин, возвращается с острова водным путем и приобретает необходимые для творческого человека знания. Неслучайно сам Чехов говорит: «...ведь кажется — все про-сахалинено» [Бердников, Громова-Опульская (отв. ред.) 2000: 111]. Второй ходит по Атлантике «матросом на рыболовном судне» [Воробьев 1987: 275]. Повесть А. П. Кержуна «Куда летят альбатросы», безусловно, навеяна впечатлениями, которые получены во время такой подготовительной работы. Кержун, по его собственному утверждению, видел разные страны, завел интересные знакомства. Все это было необходимо для реализации долгосрочного плана рассказчика — поделиться в книге накопленным опытом: «нужно было заработать деньги, чтобы сесть и написать книгу» [Воробьев 1987: 25]. Аллюзия на Чехова обнаруживается и далее в тексте: рассказчик получает рукопись Беркутова, имя которого Антон Павлович, а название рукописи «Степь широкая», в какой-то момент Кержун называет её просто «Степь». Герой Беркутова в одиночестве отправляется на целину, туда, где его никто не знает, чтобы начать новую жизнь, порвать с прошлым. Такую же цель ранее преследует и другой Антон Павлович — Кержун. Кроме того, повесть К. Д. Воробьева — это аллюзия на рассказ А. П. Чехова «О любви». Как в первичном, так и во вторичном тексте показана ограниченность любви, то, как люди сами не дают себе быть счастливыми. Кержун («Вот пришел великан...») и Алёхин («О любви») находятся в недоумении, почему женщины, которых они любят, — вовсе не их женщины, а жены других мужчин. Мысли Кержуна касаются и жизни в целом, и той ситуации, в которой главными участниками оказываются они с Лозинской. Ирена Михайловна не может уйти от своего мужа, пожилого «пузатого коротышки» Волобуя, из-за дочери. По мнению рассказчика, жить с нелюбимыми, почти с ненавистными — это ненормально, противоестественно. Мысли Кержуна касаются и жизни в целом, и той ситуации, в которой главными участниками оказываются они с Лозинской. Практически о том же самом размышляет герой Чехова: он никак не может понять, почему молодая женщина, полная достоинств, становится женой «почти старика», остается с ним, не любя, не может разорвать гнетущие ее связи: «и я всё старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка» [Чехов 1986: 403]. Помимо этого, неразрешимым и для Кержуна, и для Алёхина остается вопрос: почему они раньше не встретили своих любимых женщин.

В анализируемом тексте встречается автоцитация — «Куда бегут гонимые» (аллюзия на название первой повести героя-рассказчика «Куда летят альбатросы»). На исходное заглавие указывает структура предложения: вопросительное слово — сказуемое — подлежащее. Причем в названии

и написанного, и только запланированного / возможного произведения нет знака вопроса, хотя его постановка обуславливается местоименным наречием «куда» в самом начале предложения. Ироничное предположение относительно названия новой повести («Куда бегут гонимые») высказала Ирена. Несмотря на то, что Лозинская шутит, она и Кержун понимают, что такое заглавие «как нельзя лучше» отражает положение, в котором они оказались: им приходится скрываться от чужих глаз, зависеть от чужого мнения, ехать и идти туда, где их не знают, жить «не своей» жизнью, быть неприкаемыми. Сам же рассказчик использует другую цитату и одновременно автоцитату: новая повесть получит название «Вот пришел великан». Вновь возникает аллюзия на чеховский текст: центральный персонаж повести «Рассказ неизвестного человека», жалея обманутую героиню, думает: *«Когда она сидела таким образом, стиснув руки, окаменевшая, скорбная, мне представлялось, что оба мы участвуем в каком-то романе, в старинном вкусе, под названием «Злосчастная», «Покинутая» или что-нибудь вроде. Оба мы: она — злосчастная, брошенная, а я — верный, преданный друг, мечтатель»* [Чехов 1977: 236].

Герой Воробьева живет в литературе и литературой, что подчеркивается художественным пространством повести: Кержун работает редактором в отделе художественной литературы в местном издательстве. Отсюда — широта литературного контекста. Даже то, что, казалось бы, не относится напрямую к писательству (но не позволяет герою забывать о нем), представляет собой цитатные включения. Например, машина Антона носит имя «Росинант» — так звали коня Дон Кихота Мигеля де Сервантеса, и отношение к нему («Росинанту») рассказчика, как к живому существу: он оставляет его «при себе», чтобы было «веселей», даже находясь в больнице, думает о «друге». А верный и преданный «конь» всегда оказывается рядом, помогает хозяину встречаться с возлюбленной, позволяет им прятаться от чужих глаз, ему единственному разрешается слушать их откровенные разговоры. В наиболее тяжелые для Кержуна периоды жизни, когда герой теряет веру в себя как писатель, когда кажется, что нет никакого выхода, когда его раздирают сомнения, «Росинант» отвозит своего хозяина за город, чтобы тот смог собраться с мыслями. Со временем персонификация машины поддерживается и Лозинской, которая начинает относиться к «Росинанту» как «к нему» — верному спутнику: *«Я думала, что ты тащишь его вперед... Как Санчо своего осла...»* [Воробьев 1987: 434].

Фотографии Э. Хемингуэя были одной из причин обратить внимание героев друг на друга. Впервые попав в издательство, не зная, куда и к кому обратиться, испытывая смешанные чувства, рассказчик отправился именно туда, где увидел снимки любимого писателя, они послужили

сигналом, на который герой немедленно отреагировал. В свою очередь, Лозинская была совершенно очарована фотографиями Хемингуэя, увидев их в машине Кержуна: *«она откинулась на сиденье и вдруг подалась вперед и затаилась: со мной давно ездили два снимка Хемингуэя, — лакированно-красочных и грустных»* [Воробьев 1987: 295]. Еще не зная имени героини, рассказчик стал называть ее «хемингуэйка». То не была любовь с первого взгляда, но понимание того, что этот человек может быть близким по духу, «твоим», возникло у героев уже при первых встречах. И он, и она говорят на одном языке — языке скрытых и прямых цитат из художественной литературы, они знают и любят одних и тех же авторов.

Аллюзии на произведения двух русских поэтов — А. Блока и С. Есенина, упоминание их имен, отсылка к их биографии связаны с самоидентификацией рассказчика. До поступления в Литинститут он писал стихи и *«подражал в них Надсону»* [Воробьев 1987: 382], потому что уже тогда понимал, что *«...после Блока и Есенина стихи писать не только трудно, но почти невозможно. Если, конечно, считать себя настоящим поэтом»* [Воробьев 1987: 343].

Одиночество, неустроенная личная жизнь, профессиональная нереализованность, непонимание и неприятие со стороны ближнего окружения, а кроме того, надежды и ожидания «заставляют» рассказчика вновь и вновь обращаться к дорогим его сердцу, но таким разным авторам. Описание одного из возвращений героя в город после «очередного побега» от самого себя косвенно отсылает к строчкам из стихотворений Блока: *«В такое время на память почему-то приходят блоковские стихи и старинная светло-печальная музыка и о себе думается с уважением и надеждой»* [Воробьев 1987: 343]. Вечерняя, ночная жизнь «на фоне мерклого месяца» без любимого человека мучительна для рассказчика. Именно в такие моменты он чувствует себя особенно одиноким, незащищенным и неприкаянным, как лирический герой А. Блока. Но когда происходит перелом в отношениях героев и Лозинская уже не может скрывать своих чувств к Кержуну, он начинает видеть совершенно другой свет: из тускло-го, неясного, туманного тот преобразается: *«он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током, и в этом свете мягко увязали и глушились шумы города, и непроходяще стоял чистый и радостный запах меда»* [Воробьев 1987: 301] — и это уже аллюзия на творчество С. Есенина (см.: «Заметался пожар голубой...», «Воздух прозрачный и синий...», «Вечером синим, вечером лунным...» и др.). Отсылка к поэтам наблюдается в тех ситуациях, которые касаются лично Кержуна. Так, даже номер домашнего телефона Лозинской рассказчик соотносит с есенинской строкой: он *«был запоминающе легкий, как есенинская строка, — два двенадцать шестнадцать»* [Воробьев 1987: 312]. Герои «к месту» приводят полные и трансфор-

мированные цитаты из текстов Есенина, что еще больше усиливает их взаимную симпатию: «Я припомнил вслух есенинское “воду пьют из кружек и стаканов, из кувшинок тоже можно пить”» [Воробьев 1987: 385]. О том, что поэт и его творчество интересно Лозинской, позволяет судить фотография матери Сергея Есенина, находящаяся на рабочем месте Ирины Михайловны, и именно героиня вспоминает строчки из «Письма матери»: «Пусть струится над твоей... над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет, — продекламировала Ирена и ткнулась головой мне под мышку» [Воробьев 1987: 385], а цитату из стихотворения «Каждый труд благослови, удача!..» [Воробьев 1987: 385] воспроизводит уже рассказчик.

Даже если имя поэта не упоминается в тексте повести, читатель понимает, что мысли героя о себе, своей жизни («...в сущности я большой горемыка и неудачник, не наживший к тридцати годам ни кола ни двора» [Воробьев 1987: 288]) — это своеобразное сопоставление себя, своей судьбы с есенинской, косвенное указание на трагическую жизнь поэта, которая оборвалась как раз в тридцать лет.

Лишь однажды в повести воспроизводится исходный текст полностью, без изменений — это стихотворение поляка Я. Ивашкевича «Февраль». Случайно вспомнившись герою, оно, по его убеждению, «калено пристыло» [Воробьев 1987: 426] к его настроению — он стал нетерпим и раздражителен, испытывал к окружающим не сочувствие, а ярость. Содержание стихотворения отражало состояние рассказчика: он устал от неопределенности в личной жизни, натянутых до предела отношений с коллегами, которые демонстративно не принимали его, но самое главное — бесконечного одиночества, которое наиболее остро ощутил в определенный период своей жизни — в декабре, в самый «безнадежный» месяц.

Как у всякого творческого человека, у Кержуна богатое воображение, позволяющее ему перевоплощаться, стирающее грань между реальным и ирреальным мирами. В мечтах он погибает на дуэли, как Пушкин или Лермонтов, отождествляет себя с революционерами — Гарибальди, Оводом и полковником Пестелем, представляет себя то Багратионом, то Кожедубом, то Рокоссовским. В воображении рассказчика историческая реальность неотделима от литературной, в его фантазиях, в чем-то еще юношеских, переплетается желание подвига и литературного успеха.

После отъезда Лозинской в Кисловодск герой переживает, не находит себе места и силой воображения пытается представить, как ей там, без него. До того как начать писать, рассказчик много путешествует, но на Кавказе не бывает ни разу, и поэтому только благодаря своей фантазии и знаниям о людях, событиях и фактах, связанных с этими местами, а также аллюзиям на произведения, в которых так или иначе упоминается о них, Кержун представляет, где отдыхает Лозинская с семьей. Ему кажется, что

это некий сказочный город: *«и я стал думать о нем, как о вознесенном на скалу давно полуразрушенном городе-замке, — розово-светлом, повитом плющом. Там не бывает закатов солнца и люди носят белые одежды. Я перенес туда на скалу Бахчисарайский фонтан, развалины дворца хана Гирея и башню Тамары, — поэтичнее этого я ничего не помнил из книг о Кавказе»* [Воробьев 1987: 361].

Кержуну и Лозинской приходится скрывать свою связь, прячась от всех, особенно от «товарищей» по работе. В издательстве, где работают герои, за ними шпионят, о них сплетничают. Симпатии и антипатии рассказчик выражает с помощью различных цитат. Так, не сложились у него отношения с коллегой — Певневым, потому что в нем, по наблюдениям Кержуна, «перемешались» такие отрицательные качества, как зависть, надменность и жалкость. Помимо прочего, Певнев — сплетник, ждущий подходящего момента как можно более «разделаться» с рассказчиком. Чтобы разозлить недовольного всем соседа по кабинету, который демонстративно «не замечает» коллегу, не здоровается с ним, грубит или делает вид, что того и вовсе нет, Кержун использует не прямое воздействие. Разговаривая по телефону с Лозинской, называемой для «конспирации» Альбертом Петровичем, о «начинающем» писателе Александре Ивановиче Куприне, герой специально излагает историю, предназначенную для Певнева, который оказывается свидетелем разговора. *«Однажды я позвонил при нем Альберту Петровичу и спросил, известно ли ему, что отвечал Куприн в начале своей писательской известности тем господам, которые предумышленно произносили его фамилию с ударением на первом слоге?»* [Воробьев 1987: 470]. Упоминание ситуации, связанной с известным писателем, — это реминисценция, благодаря которой герой соотносит то, что происходит с ним, с тем, что происходило с уважаемым и почитаемым автором. На протяжении повествования меняется отношение рассказчика к Вераванне, соседке Ирены по кабинету и «другу семьи» Лозинских-Волобуй: от нейтрального до *«худо мне было с Вераванной»* [Воробьев 1987: 337] и, наконец, до нескрываемого неприятия. Не думать о ней Кержун не может, потому что она всегда у него перед глазами, недовольная, подозрительная, демонстрирующая и взглядами, и позой свое нежелание слышать и видеть рассказчика. Не обходит вниманием Кержун и отсутствие профессионализма Вераванны: *«Так могут судить, подумал я, только те, у кого нет никакого страха собственной недостойностью перед величием, скажем, Толстого или Бетховена, кто самоуверен и нахален в суждениях обо всем, что живет в мире и чем живет мир помимо хлеба»* [Воробьев 1987: 416]. В некоторых ситуациях, когда рассказчик понимает свою «зависимость» от Певнева и Вераванны — нельзя поступать, как хочешь, нельзя проявлять эмоции, нельзя говорить, что хочешь — и негодует

от этого, пытается «уколоть» того и другого одновременно. Так, находясь в одном кабинете с Певневым, Кержун посвящает свое реминисцентное высказывание еще и Вераванне: *«История слова труперда связана с именем Пушкина. Он называл так княгиню Наталью Степановну Голицыну <...> Просто толстая и глупая бабища, — сказал я. — Она не принимала у себя Пушкина, считая его неприличным. Пижоном того времени, так сказать»* [Воробьев 1987: 429]. Этот спонтанный рассказ — одновременно скрытое и явное проявление отношения героя к недоброжелателям, которые, понимая, что происходит, ничего не могут ответить, т. к. отсутствует прямое к ним обращение. Высказывание, казалось бы, не связанное непосредственно с ситуацией, обусловлено накопившимися переживаниями и раздражением рассказчика: зная, как к нему относятся эти двое (как к пижону), он и затеял такое «представление».

Человек, вызывающий интерес, «бывший» художник, ассоциируется у рассказчика с одним из «...сказочных бродяг из произведений А. Грина: Это сходство с ними усиливало лицо — крепкодубленое, в седой щетине и рубцах морщин» [Воробьев 1987: 359]. Как большинство героев писателя, этот посетитель редакции как будто бы попал сюда из другого мира, и говорит он и выглядит иначе, чем все остальные.

Не остается равнодушным Кержун к тем произведениям, которые редактирует. Так, герою попадает в руки рассказ Аркадия Хохолкова «Полет на луну». Это текст-пародия на сценарий Н. Эрдмана (чье имя в тексте не упоминается), по которому был снят советский мультфильм 1953 года «Полет на луну». Чрезмерное, доходящее до абсурда развертывание какого-либо действия — первый, главный признак пародии [Чагин 2008: 235], как раз такой принцип представлен в рассказе Аркадия Хохолкова. На алогичность, нетипичность описываемого в рецензируемом тексте указывает все: и нелепость ситуации — мальчик Петя был отправлен друзьями в космос, и поступки героев — друзья поместили Петю в ящик, принесли на ракетодром, погрузили в ракету, следовавшую на Луну. То, как описывает рассказчик-редактор свое впечатление от прочитанного (ему пришлось несколько раз пересматривать рассказ — в итоге у него заболела голова) вызывает у читателя понимание никчемности «произведения» Аркадия Хохолкова.

Аллюзии и реминисценции на произведения Л. Н. Толстого и И. А. Бунина, с одной стороны, дают возможность понять, что значили эти авторы для рассказчика, как недостижим их талант для «современных прозаиков»: *«Нельзя ведь не бояться Толстого. Или Бунина»* [Воробьев 1987: 409], с другой стороны, передают положение героев, в котором те оказались. Речь идет о любовном треугольнике. Тема любви становится объектом рефлексии героя. Параллель с бунинским рассказом очевидна, ее проводит

сам Кержун. Несмотря на то, что в связи с «Солнечным ударом» упоминается Вераванна, вернувшаяся из Сочи (*Наверно, с Вераванной случилось... что-то неправомерно хорошее, похожее, надо думать, на бунинский «Солнечный удар»* [Воробьев 1987: 422]), рассказчик соотносит все то, что произошло с героями И. А. Бунина, с их с Лозинской историей. Именно с ними случился солнечный удар: маленькая женщина, перевернувшая всю жизнь героя (после встречи с ней он уже никогда не будет прежним), оказывается замужем, у нее есть дочь; героиня не может (не хочет, не имеет возможности) оставить мужа. Благодаря использованию реминисценции прогнозируется вариант развития дальнейших отношений между Кержуном и Лозинской: им не быть вместе. Встреча героев повести — Ирены Михайловны и Антона Павловича отсылает и к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина», в котором встреча Карениной и Вронского становится такой же, на первый взгляд случайной, как у Лозинской и Кержуна. Кроме того, объектом рефлексии оказывается и сама «геометрия любви» — любовный треугольник: Кержун — Лозинская — Волобуй: *«Я сказал, что любви, если она запоздалая, без треугольников не бывает, и дело не в треугольниках, а в бездарности авторов, дерзающих бормотать об этом. Я подумал и предположил еще, что, для того чтобы написать книгу о любви, нужен большой и свободный талант... Как у Толстого»* [Воробьев 1987: 416]. Использование реминисценции позволяет рассказчику поразмышлять и о таланте Л. Н. Толстого, благодаря которому писатель так красиво и трагично смог раскрыть позднюю любовь, и о самой «запоздалой» любви. Кержун, хорошо знающий творчество писателей-классиков, соотносит сюжеты и мотивы из их произведений с тем, что случается с ним.

Цитирование исходных и трансформированных текстов — литературных источников XVIII–XX веков — представляет собой прием рефлексии героя-рассказчика: это его самоидентификация в ходе взаимодействия с разными людьми. Помимо этого, рассказчик как творческая личность, обладающая множеством масок, меняет их в зависимости от сложившейся ситуации и/или от того, как ситуация «разворачивается». Ряд аллюзий и реминисценций отражает состояние героя вне зависимости от обстоятельств. Это обусловлено тем, что он, как сложившаяся личность, имеет устойчивые представления о мире и о своем месте в нем. Появление иных цитатных включений обусловлено эмоциональным состоянием героя: он любит, симпатизирует, сердится, раздражается, борется и др. Все это не только вызывает ассоциации с определенными авторами и героями литературных произведений, но и помогает герою-рассказчику осознать, идентифицировать себя как автора, сформировать «свой» голос. «Пробуя на вкус», примеряя на себя чужое слово, он вырабатывает свой индивидуальный язык и стиль.

Цитирование как прием рефлексии — это один из способов изучения прямых и трансформированных цитат в тексте, который позволяет исследовать как образ автора, рассказчика, так и образ героя.

Источники

Андреев Л. Н. Повести и рассказы: в 2 томах. М.: Художественная литература, 1971. Т. 2. 510 с.

Воробьев К. Д. Вот пришел великан...: повести. М.: Известия, 1987. 603 с.

Чехов А. П. О любви // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 18 т. М.: Наука, 1977. Т. 10. [Рассказы. Повести], 1898–1903. 495 с.

Литература

Ананьина А. А. Особенности функционирования аллюзивных имен в художественном тексте // Русский лингвистический бюллетень. 2021. № 1 (25). С. 6–9.

Бердников Г. П., Громова-Опульская Л. Д. (отв. ред.). Летопись жизни и творчества А. П. Чехова / Российская акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Т. 1: 1860–1888. М.: Наследие, 2000. 509 с.

Борунов А. Б. Стилистические функции аллюзивных репрезентантов в художественном тексте // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4–3 (58). С. 69–71.

Быков Д. Л. Константин Воробьев как зеркало русской военной прозы // Дилетант. № 7. 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://ru-bykov.livejournal.com/3453510.html> (дата обращения: 05.04.2023).

Земская Е. А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 23–31.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ. 2010. 264 с.

Лушников Г. И. Интертекстуальность художественного произведения. Кемерово: КемГУ, 1995. 82 с.

Москвин В. П. Интертекстуальность. Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. М.: Либроком, 2015. 167 с.

Попова Е. А. Прецедентные тексты в обучении русскому языку // Русский язык в школе. 2007. № 3. С. 44.

Пучнина О. П. Прецедентные феномены на материале автобиографической прозы Марины Цветаевой // Международная научно-практическая конференция: Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты. 29–30 января 2017, г. Кемерово. Т. II. С. 123–126.

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.

- Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. 123 с.
- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. Изд. 2-е, испр. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 368 с.
- Туова Р. Х. Интертекстуальность в детективном тексте постмодерна: лингвокультурный аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2015. № 4 (168). С. 67–72.
- Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.: Агар, 2000. 280 с.
- Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. М.: КомКнига, 2007. 282 с.
- Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века: автореф. дис. ... д-ра фил. наук. Томск. 2008. 42 с.
- Чагин А. И. Пути и лица: о русской литературе XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 595 с.

References

- Anan'ina A. A. [Features of the functioning of allusive names in a literary text]. *Russkii lingvisticheskii byulleten'*, 2021, no. 1 (25), pp. 6–9. (In Russ.)
- Berdnikov G. P., Gromova-Opul'skaya L. D. (resp. eds.). *Letopis' zhizni i tvorchestva A. P. Chekhova* [Chronicle of the life and work of A. P. Chekhov]. Vol. 1: 1860–1888. Moscow, Nasledie Publ., 2000. 509 p.
- Borunov A. B. [Stylistic functions of allusive representatives in the artistic text]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, 2016, no. 4–3 (58), pp. 69–71. (In Russ.)
- Bykov D. L. [Konstantin Vorobyov as a mirror of Russian military prose]. *Dilettante*, no. 7, 2018. Available at: <https://ru-bykov.livejournal.com/3453510.html> (accessed 05.04.2023).
- Chagin A. I. *Puti i litsa: o russkoi literature XX veka* [Ways and faces: about the Russian literature of the 20th century]. Moscow, IWL RAS Publ., 2008. 595 p.
- Fateeva N. A. *Kontrapunkt intertekstual'nosti, ili intertekst v mire tekstov* [Counterpoint intertextuality, or intertext in the world of texts]. Moscow, Agar Publ., 2000. 280 p.
- Fateeva N. A. *Intertekst v mire tekstov: Kontrapunkt intertekstual'nosti* [Intertext in the world of texts: Counterpoint of intertextuality]. Moscow, KomKniga Publ., 2007. 282 p.
- Karaulov Yu. N. *Russkii yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and linguistic personality]. Moscow, LKI Publ., 2010. 264 p.
- Khatyamova M. A. *Formy literaturnoi samorefleksii v russkoi proze pervoi treti XX veka*. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Forms of literary self-reflection in Russian prose of the first third of the 20th century: Cand. philol. sci. diss. abstract]. Tomsk, 2008. 42 p.
- Lushnikova G. I. *Intertekstual'nost' khudozhestvennogo proizvedeniya* [Intertextuality of a work of art]. Kemerovo, KemSU, 1995. 82 p.

- Moskvin V. P. *Intertekstual'nost': Ponyatiinyi apparat. Figury, zhanry, stili* [Intertextuality. Conceptual apparatus. Figures, genres, styles.]. Moscow, Librokom Publ., 2015. 167 p.
- P'ege-Gro N. *Vvedenie v teoriyu intertekstual'nosti* [Introduction to the theory of intertextuality]. Moscow, LKI Publ., 2008. 240 p.
- Popova E. A. [Precedential texts in the study of the Russian language]. *Russkii yazyk v shkole*, 2007, no. 3, p. 44. (In Russ.)
- Puchinina O. P. [Precedent phenomena based on the autobiographical prose of Marina Tsvetaeva]. *Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya: Fundamental'nye nauchnye issledovaniya: teoreticheskie i prakticheskie aspekty. 29–30 yanvarya 2017 g.* [International scientific and practical conference: Fundamental scientific research: theoretical and practical aspects. January 29–30, 2017]. Kemerovo, 2017, vol. II, pp. 123–126. (In Russ.)
- Slyshkin G. G. *Ot teksta k simvolu: lingvokul'turnye kontsepty pretседentnykh tekстов v soznanii i diskurse* [From text to symbol: linguistic and cultural concepts of precedent texts in consciousness and discourse]. Moscow, Academia Publ., 2000. 123 p.
- Superanskaya A. V. *Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo* [The general theory of the proper name]. 2nd ed. Moscow, LKI Publ., 2007. 368 p.
- Tuova R. Kh. [Intertextuality in the detective text of postmodernism: linguocultural aspect]. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie*, 2015, no. 4 (168), pp. 67–72. (In Russ.)
- Zemskaya E. A. [Cliché newspeak and citation in the language of post-Soviet society]. *Voprosy yazykoznaniiya*, 1996, no. 3, pp. 23–31. (In Russ.)

«Времена не выбирают...»: эскиз о доксе и парадоксах Александра Кушнера (идиоматика и идеология)

Павел Успенский, Университет для иностранцев г. Сиены (Италия, Сиена), paveluspenskij@gmail.com

DOI: 10.31857/S013161170026403-2

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется стихотворение Александра Кушнера «Времена не выбирают...» (1978) и закрепившееся в proverbialном фонде начало этих стихов — «Времена не выбирают, / В них живут и умирают». Опираясь на лингвистический анализ текста, в частности на идиоматический подход, я предпринимаю попытку деконструкции стихотворения. Как я показываю в статье, ключевая сентенция осциллирует между универсальным и ситуативным значением. Текст стихотворения разыгрывает риторическую систему аргументов в пользу приятия современности, превращая парадоксальный афоризм в риторический довод. Отдельного внимания заслуживает финальная строфа, в которой на первый план выходит языковой оборот из уголовно-процессуального дискурса «снять отпечатки пальцев». Использование этого оборота выдает присущее субъекту специфическое понимание истории и современности. Система аргументов текста предстает сбивчивой и противоречивой, что, на мой взгляд, объясняется травматичностью эпохи сталинизма: субъект убеждает принять современность не столько воображаемого собеседника (читателя), сколько самого себя, ощущая опасность политического преследования за другую точку зрения. Лингвистический анализ стихотворения «Времена не выбирают...» позволяет только на имманентных основаниях отнести этот текст к официальной советской поэзии.

П. Успенский. «Времена не выбирают...»: эскиз о доксе и парадоксах Александра Кушнера...
P. Uspenskij. "They Don't Choose the Times...": an Essay on Alexander Kushner's Doxa and Paradoxes...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кушнер, официальная советская поэзия, поэтическая семантика, идиоматика, идиоматика и поэзия, травма сталинизма

для цитирования: Успенский П. «Времена не выбирают...»: эскиз о доксе и парадоксах Александра Кушнера (идиоматика и идеология) // Русская речь. 2023. № 3. С. 102–116. DOI: 10.31857/S013161170026403-2.

The Language of Fiction

“They Don’t Choose the Times...”: an Essay on Alexander Kushner’s Doxa and Paradoxes (Idiomatics and Ideology)

Pavel Uspenskij, University for Foreigners of Siena (Italy, Siena), paveluspenskij@gmail.com

ABSTRACT: The article is focused on Alexander Kushner’s poem “They don’t Choose the Times...”. We analyze the whole text and its first lines “They don’t choose the times, / They live and die in them”, which have been fixed in the Russian proverbial and quotation fund. Based on the linguistic analysis of the text, in particular, on the idiomatic approach, I attempt to deconstruct the poem. As it is shown, the key maxim oscillates between universal and situational meaning. The text of the poem realizes a rhetorical system of arguments to accept modernity and turns the paradoxical maxim into a rhetorical argument. The final stanza deserves special attention. The phrase from the criminal procedural discourse “to take fingerprints” plays the main role in it. The use of this figure of speech betrays the subject’s specific understanding of history and modernity. The system of text arguments appears to be disordered and contradictory. In my opinion, it can be explained by the traumatic nature of the Stalin’s era. The subject convinces to accept modernity not an imaginary interlocutor (a reader) as of himself, because he feels the danger of political persecution for having different

views. The linguistic analysis of the poem “They don’t Choose the Times...” allows us to attribute this text to the official Soviet poetry only judging by immanent features.

KEYWORDS: Alexander Kushner, official soviet poetry, poetic semantics, idioms, idioms and poetry, trauma of Stalin’s repressions

FOR CITATION: Uspenskij P. “They don’t Choose the Times...”: an Essay on Alexander Kushner’s Doxa and Paradoxes (Idiomatics and Ideology). *Russian Speech = Russkaya Rech’*. 2023. No. 3. Pp. 102–116. DOI: 10.31857/S013161170026403-2.

«Времена не выбирают, / В них живут и умирают» — самые известные строки А. Кушнера, которые в России цитируются особенно часто. С момента публикации стихотворения в сборнике Кушнера «Голос» 1978 г. сентенция закрепились в провербиальном фонде, а после появления в 1988 г. песни Т. и С. Никитиных стала всенародно известной.¹ Популярность афоризма (а вместе с ним и всего стихотворения) позволяет считать, что высказывание Кушнера резонирует с читательским сознанием и называет нечто, для чего нет более подходящего имени, что это — своего рода «безымянное узнаваемое», по удачной характеристике М. Гронаса [Гронас 2001].

Однако что именно называют эти строки? Вопрос только кажется тривиальным. В этой статье, опираясь на лингвистические подходы к тексту, в частности на анализ идиоматики [Успенский, Файнберг 2020; Красильникова, Успенский 2021], я постараюсь показать, что смысл ключевой сентенции стихов колеблется между универсальным и ситуативным значением, выступая одновременно остроумным афоризмом и риторическим аргументом в длинном ряду доводов квазифилософского характера. Все стихотворение в целом, претендуя на «философскую» универсальность, не только оказывается слабо выстроенной системой аргументов в пользу любой современности, но и выдает — прежде всего на языковом уровне — страхи и историческую травму лирического «я». Предпринятый в статье своего рода опыт лингвистической деконструкции поэтического текста приводит к проблематизации поэтического субъекта советского

¹ См.: [Нотная летопись 1988: 24]. См. также: фильм-концерт с песнями Никитиных «Времена не выбирают», показанный по государственному телевидению в 1988 г. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=w7xNfVxPSko>

времени. Чтобы быть верно понятым, я бы хотел вкратце очертить мой подход к проблеме субъекта.

Если строки Кушнера закреплены в читательском сознании и постоянно в нем отзываются, если они часто приходятся к слову в спорах и рассуждениях, резонно полагать, что по ним можно судить не только о фигуре читателя, но и о проявленном в стихах субъекте. Как мне представляется, здесь, иными словами, уместно совершить транспозицию: канонический статус произведения, его растворенность в языке дает возможность считать, что воспринятые читателями смысловые конфигурации точно отражают смысловые конфигурации самого произведения². Такой взгляд дает возможность миновать сложно определяемую и уходящую в философские размышления категорию субъекта, но позволяет говорить об этом субъекте в «практическом» измерении — как о слепке «я» с набором как проговоренных, но также и непроговоренных (в определенном смысле бессознательных) идей, впечатлений и ассоциаций, выраженных в тексте. Это «я» феноменологически явлено в произведении и существует только в нем. Поэтому утверждать, что поэтический субъект тождественен реальному автору как человеку определенной эпохи, будет неверным; «я» закрепляет в тексте определенную конфигурацию значений, тогда как творческое сознание реальной личности изменчиво и включает в себя больше смыслов, ассоциаций и впечатлений.³ Вместе с тем субъект текста

² Именно растворение авторского высказывания в языке мне видится определяющим фактором. Каноническим статусом обладают и «темные» произведения (О. Мандельштам, М. Цветаева, А. Введенский), но они не функционируют в повседневной коммуникации так же, как, например, пословицы или цитаты, «потерявшие» автора.

³ Есть свидетельство, как сам Кушнер воспринимает свои строки. В интервью В. Выжutowичу, отвечая на вопрос, вкладывались в стихи «ощущение обреченности и безысходности, свойственное только людям, лишенным свободы выбора?», поэт отвечал:

«Ощущение обреченности и безысходности в эти стихи вкладывать не надо, ведь в конце сказано "Но дымится сад чудесный, / Блещет тучка, обниму / Век мой, рок мой на прощанье. / Время — это испытанье. / Не завидуй никому..."»

Многое зависит от тебя самого, от того, какими глазами ты глядишь на мир, способен ли ты полюбить человека, обрадоваться кусту жасмина <...> А те, кто думает, что время можно выбрать по своему желанию и усмотрению, по-моему, ошибаются. Курбский бежал от Ивана Грозного, но всем-то не убежать. И есть ли свобода выбора?

Мне кажется, это понятие скорее церковное, религиозное, нежели реальное, земное. Если свобода выбора действительно существует (я имею в виду не выбор между носовым платком или галстуком, трамваем или автобусом), то хочется спросить: почему <...> миллионы людей лишены всякого выбора, обречены на Освенцим и Колыму?» [Выжutowич 2016].

Критика философской категории свободы выбора, которая у автора ассоциативно связана с собственным стихотворением, в тексте проступает, но все-таки несколько по-другому и в иной смысловой конфигурации. Вместе с тем выход разговора в политическую плоскость здесь, как представляется, очень закономерен, — см. ниже.

соотнесен со своей эпохой, и ряд смыслов стихотворения, как я покажу ниже, открывается только в этом соотношении.

Хотя вокруг стихов сформировался ореол стоической позиции человека по отношению к современности, я хотел бы показать, что это верно только в определенной модальности прочтения, той, на которой настаивает сам текст. Одновременно в нем есть имплицитный план — план политического, и в его свете стоицизм оборачивается ограничением агентности «я», пассивностью субъекта (и это, как я покажу ниже, также входит в рецептивный горизонт произведения). Чтобы проиллюстрировать эти положения, мне нужно будет подробно остановиться на начале и конце стихотворения, но чтобы общий ход рассуждений был ясен, я приведу этот хрестоматийный текст целиком:

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем кланчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время — это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время — кожа, а не платье.
Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,
С нас — его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.
[Кушнер 1978: 24]

Открывающая текст сентенция — двусоставное утверждение, значение которого сводится к констатации очевидного положения вещей. В языковом плане она совмещает два коротких фразеологических словосочетания, две фраземы: *Х не выбирают и живут и умирают*, которые, в свою очередь, типичны для ряда характерных выражений. Чтобы точнее описать семантику сентенции Кушнера, необходимо рассмотреть составляющие ее компоненты.

Фразема *Х не выбирают* частотна в литературном языке и обладает набором отличительных характеристик. Во-первых, из-за грамматической формы (безличная конструкция с глаголом в наст. вр. в 3 л. мн. ч.) она утверждает нечто, справедливое для всех людей. Во-вторых, она, как правило, называет такой объект, с которым говорящий априорно связан и который он в самом деле не может выбрать в силу предзаданности этой связи. Говоря чуть проще, фразема всегда выражает общеизвестную истину (трюизм). Из этого, в-третьих, выводится ее прагматическая особенность: в контексте коммуникации фразема служит репликой, возражающей собеседнику и указывающей на очевидную невозможность изменить порядок вещей; в случае письменного текста семантика немного сдвигается в сторону большей риторической эффектности, но также служит как бы мысленным опровержением чужой точки зрения. В целом, значение *Х не выбирают* содержит утверждение, что *Х* является таким *Х*, который невозможно изменить и потому приходится мириться с его особенностями. Используя эту конструкцию, мы вынужденно напоминаем собеседнику об очевидном порядке вещей. В определенном смысле, *Х не выбирают* семантически близко к таким выражениям, как *Х есть Х*; *что поделать? такой вот Х* и др.

Валентность фраземы может заполняться разными лексемами. Согласно НКРЯ, в конструкции *Х не выбирают* на месте *Х* могут находиться: *происхождение, вера, Бог, родина, судьба, правила игры, сослуживцы, соседи по лагерной пересылке, семья*, а также многочисленные *родственники — мать, дети, братья по крови*. Проиллюстрирую сказанное списком примеров из корпуса русского языка:

А происхождение свое и веру *не выбирают* (Н. Воронель. «Без прикрас. Воспоминания». 1975–2003);

Бога *не выбирают*, как *не выбирают* солнечный свет (И. Сан-Францисский (Шаховской). «Истоки материализма». 1948–1954);

Говорят, <...> что родину *не выбирают* (В. Астафьев. «Последний поклон». 1968–1991);

Во-первых, он — твоя судьба, / которую *не выбирают...* (Б. Слуцкий. «Во-первых, он — твоя судьба...». 1970–1975);

— Правила игры *не выбирают*, — флегматично отозвался Круминь (А. Вайнер, Г. Вайнер. «Я, следовательно...». 1968);

Ничего не попишешь, сослуживцев, как и родственников, *не выбирают...* (Э. Рязанов, Э. Брагинский. «Служебный роман». 1977);

Соседей на пересылке *не выбирают* (В. Шаламов. «Колымские рассказы». 1954–1961);

А ведь семью *не выбирают*, в ней рождаются и принимают ее такой, какая есть (З. Масленикова. «Жизнь отца А. Меня». 1992);

Мать *не выбирают* и от нее не отказываются (И. Эренбург. «Портреты современных поэтов». 1922);

Да и детей *не выбирают*, они на свет являются сами (В. Астафьев. «Последний поклон». 1968–1991);

...ибо братьев по крови *не выбирают* (А. Крон. «О первой дружбе, о первой пьесе...». 1969).

Конечно, конструкция *Х не выбирают* может быть реализована и со словами с темпоральным значением. Не выбирают (*год*) рождения, эпохи, время, причем в последнем случае как *время для рождения и смерти*, так и *время жить*. Вот несколько примеров из литературных текстов:

Год рождения *не выбирают...* (Д. Самойлов, 1978);

Этого просто *не выбирают*, как *не выбирают* рождения (М. Харитонов. «Стенография конца века. Из дневниковых записей». 1981);

Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров — их *не выбирают* (И. Эренбург. «Люди, годы, жизнь». 1960–1965);

В народе говорят, что для рождения и смерти *время не выбирают* (В. Ардаматский. «Ленинградская зима». 1971);

Страшная досталась нам эпоха, но, к сожалению, время жить *не выбирают* (Н. Дежнев. «В концертном исполнении». 1993).

Таким образом, на фоне узуса русского языка в строке Кушнера «времена не выбирают» заполняется вполне ожидаемая и семантически закрепленная в языковой картине мира валентность конструкции. В этом утверждении поэт следует за логикой языка.

Вторая часть сентенции Кушнера основана на синтагме *живут и умирают*, которая обладает бытийственным смыслом и позволяет отстраненно посмотреть на жизнь других людей, часто — в трагическом ключе:

...в Сибири, <...> на каторге, в подземельях *живут и умирают* люди, которые менее виноваты, менее преступны, чем ты! (И. Тургенев. «Часы». 1850);

Так отходят миллионы людей: *живут* незаметно и *умирают* незаметно (Ф. Достоевский. «Дневник писателя. 1876 год». 1876);

Да и вся жизнь — шутка! Шутя люди *живут и умирают*... (А. Островский, Н. Соловьев. «Женитьба Белугина». 1877);

Живут люди и *умирают* и не знают нынче о том, что завтра умрут (Л. Андреев. «У окна». 1899);

...поколения за поколениями рождаются, *живут и умирают* в том одуренном состоянии, в котором их держат духовенство и правительство... (Л. Толстой. «Что такое религия и в чем сущность ее?». 1902);

Он чувствовал: в ночной темноте *живут*, мучаются, *умирают* миллионы миллионов людей (А. Толстой. «Хождение по мукам. Кн. 1. Сестры». 1922).

Смысловое ядро синтагмы вне зависимости от контекстов, в которых могут появляться дополнительные семантические компоненты, называет общеизвестное — люди, в самом деле, *живут и умирают*. Как и в прошлом случае, здесь мы сталкиваемся с констатацией очевидного положения вещей.

Смысловой прирост афоризма «Времена не выбирают, / В них живут и умирают» возникает, таким образом, не благодаря оригинальным утверждениям составляющих его высказываний, а за счет монтажной склейки двух трюизмов, которые приводят к поэтической тавтологии. Дополнение «в них» обеспечивает бесшовный монтаж и придает темпоральному плану пространственные черты. Смысл же расширяется за счет глаголов: в строках в один ряд ставятся глагол выбора и бытийственные глаголы со значением биологического существования. В результате возникает резкая смысловая перефокусировка — вместо возможного активного действия человеку предлагается обобщенная схема жизни, из которой выбор исключен; хотя грамматически пассив и не возникает, контраст устанавливается именно на основе активного — пассивного действия.

По закону семантической согласованности, два утверждения уравнивают высказывание во всеобщем, бытийственном смысле, придают ему свойство универсального утверждения: «времена *никогда* не выбирают,

в них *всегда и только* живут и умирают, [и никаких других вариантов не существует]'. Именно такое согласование происходит благодаря ассоциации афоризма с поэтикой пословиц, всегда претендующих на всеобщность; ср. *цыплят по осени считают; соловья баснями не кормят; дареному коню в зубы не смотрят; клин клином вышибают; в Тулу со своим самоваром не ездят* и т. п.

Вместе с тем строки могли бы быть согласованы и на основе конкретной ситуации, и, сохраняя универсальное значение, могли бы делать акцент на ситуативных исторических обстоятельствах. Ср.: 'Ты *сейчас* жалуешься, что время *сейчас* тяжелое, и ты хотел бы жить в других исторических обстоятельствах. Но что поделать? Надо смириться. Как ты знаешь, времена не выбирают. Обычно в разные времена люди живут и умирают, и *наше время* — не исключение'. Такая возможность как будто бы вытесняется и подавляется автономным смыслом первых двух строк, однако занятым образом — поскольку афоризм не закончил, а, напротив, открыл стихотворение — последовательно проступает дальше.

В самом деле, склеенные трюизмы обеспечивают смысловую развертку текста, которая, в определенном смысле, происходит уже по инерции. Так, использование фраземы *живут и умирают* применительно ко *времени/временам* естественным образом придает темпоральной категории отрицательные черты, и эта негативная семантика дальше возникнет в стихах в соответствии с ореолом произнесенного утверждения: «Что ни век, то век железный», «Время — это испытанье», «Время — кожа, а не платье».

Прагматический аспект *Х не выбирают* хотя и остается нереализованным в самом начале, дальше прямо проступает в риторической развертке подразумеваемой ситуации, в рамках которой собеседник субъекта как раз хотел бы выбирать времена, а субъект, в свою очередь, предлагает ему риторическое объяснение, почему это невозможно.

Прагматическая интенция фраземы настолько сильна, что заставляет поэта восстанавливать бытовой контекст ситуации, в которой такое утверждение могло бы быть произнесено! Несколько перефразируя, можно сказать, что развитие основной части стихотворения идет на поводу языка: раз узуальная фразема появилась в тексте, стихотворение должно обеспечить ей такой языковой контекст, в котором она реализует нормативное значение.

Универсальный и ситуативный смыслы афоризма по-разному определяют утверждения и исторические иллюстрации стихотворения. Текст как будто настаивает на универсальном значении, но в таком случае стихотворение оказывается тавтологичным и ровным счетом ничего не прибавляет к основному обобщенному утверждению. Усиливать любыми

риторическими средствами идею, что *X* — при условии, что он априорно с тобой связан, — *не выбирают*, идет ли речь о *временах* или о *родственниках*, не имеет смысла даже в поэтической речи, — эта идея была выражена с самого начала и не нуждается в каких-либо доказательствах, помимо произнесения самого утверждения. Усиление мысли необходимо только в том случае, если ситуативный смысл в конкретных исторических обстоятельствах оказывается важнее. Именно по этому пути и идет дальнейшее развитие текста.

В самом деле, все последующие аргументы стихотворения — дорогие примеры из истории, осуждение самой разговорной практики фантазировать о других эпохах, учительские нравоучения — могут успешно реализовываться только в ситуации, когда конкретное время настолько тяжело, что хочется оказаться в другом. Внутри такого дискурса претендующая на универсальность сентенция только открывает ряд риторических доводов, почему же это невозможно: '[во-первых], времена не выбирают; [во-вторых], нет большей пошлости, чем хотеть поменять время; [в-третьих], каждый век не идеален' и т. п.

Исходная универсальность утверждения растворяется в риторике, а потому из точного и абсолютного суждения оно становится как бы относительным (от полной трансформации его спасает семантическое ядро, не позволяющее совершить такой переход). Акцент, иными словами, смещается с безусловной истинности высказывания на его прагматический, ситуативный характер.

В плане разыгрывания риторики убеждения — а именно этим, по сути, и занят текст — совершается смысловая подмена. В изначальном афоризме сообщается, что люди неизбежно *живут и умирают* в тех временах, в которых им выпало жить, однако ничего не говорится о том, *как* они живут и *какими возможностями действия* обладают. В коннотативном плане текста всякий человек оказывается лишенным какой-либо агентности и способности к каким-либо поступкам, которые потенциально эти времена как раз могли бы изменить. Несколько обобщая, можно сказать, что политическое составляет слепое пятно этого стихотворения.

Конкретные иллюстрации только подкрепляют общую установку стихотворения. Из исторических периодов выбрано два весьма эмблематичных — эпидемия чумы середины XIV в. и страшное время Ивана Грозного. Характерно, однако, что для субъекта предъявления этих зловещих эмблем достаточно, чтобы считать, что аргумент состоялся. Предъявляются они также с двойным искажением. Во-первых, субъект подменяет желание собеседника жить в другом, более симпатичном времени, рассуждением о вероятности оказаться во времени еще более страшном,

чем нынешнее. Во-вторых, размышление субъекта исходит из того, что каждый век «железный», но в любом времени есть область внаходимости — «но дымится сад чудесный, / блещет тучка». В таком ракурсе акцент смещается с *выбора* времени на умение его *воспринимать*, а значит, и предъявленные в качестве довода страшные эпохи потенциально «обитаемы» при определенных навыках игнорирования, избегания неприглядных сторон реальности.

Отдельно стоит отметить, что выбранные субъектом эмблематичные эпохи относятся к давно прошедшему времени, тогда как недавнее актуальное прошлое — эпоха сталинизма — в исторической части стихотворения остается в зоне умолчания. С моей точки зрения, оно вытесняется, однако, как я покажу далее, все же косвенно проступает в финале стихотворения. Здесь же отмечу, что текст, разыгрывая риторические аргументы, игнорирует социальные проблемы прошлого и предпочитает имитировать универсальность и даже некоторую наивность доводов, что, как мне кажется, также объясняется избеганием политического.

Приведенные субъектом аргументы, конечно, далеки от философского осмысления истории. Однако и характеристики сегодняшнего дня в тексте сложно квалифицировать как пронизательную критику современности. Субъект остался жив, потому что в XX веке скарлатину научились лечить, и этот век лучше предыдущего потому, что можно ехать в «первом классе, а не в трюме, в полутьме». Прогресс в области повседневной жизни подается как историческое достижение, что отчасти справедливо, но вновь искажает ход аргументации. Предъявленные только что примеры из прошлого переходят друг в друга на основе идеи стихийного бедствия — эпоха Грозного ассоциативно тянет за собой флорентийскую чуму именно по признаку природной катастрофы. Отсюда вытекает и медицинская ремарка о скарлатине, и, шире, вера в научный и цивилизационный прогресс, как будто он может купировать страшные социальные процессы в современности. Однако к 1978 году опыт мировой истории показал, что диктатуры напрямую не зависят от медицинских достижений и комфортабельности повседневной жизни. Во всяком случае, стратификация корабельных кают и повсеместный опыт лечения детских болезней не уберегли жителей Советского Союза от большого террора.

Причудливость логической аргументации становится понятнее именно в свете вытеснения политического. Субъект стихотворения старается доказать, что все времена по-своему плохи, хотя бывают эпохи особо страшные, и при этом, за исключением этих эпох, все времена более или менее одинаковые («Что ни век, то век железный»). В ход идут самые разные аргументы, которые старательно обходят политическое и которые

исключают какое-либо проявление агентности субъекта, возможность поступка (единственное, что он может сделать, — это принять свое время: «обниму / век мой, рок мой»).

В языковом плане это риторическое убеждение разворачивается с помощью целого ряда узуальных конструкций и фразеологизмов. Здесь необходимо остановиться на последней строфе. В ней «готовые» элементы языка — наряду с яркими метафорами — служат финальными аргументами и одновременно вскрывают изнанку всего построения.

Строка «время — кожа, а не платье» предлагает читателю сильную, хотя и очевидную, смысловую перефокусировку, значение которой сводится к тому, что время не декорации, в которых мы живем, а часть нас самих. Хотя в строке совершается переопределение (*нечто* — *Y*, а не *X*), отмеченный компонент «одежда» ассоциативно проступает ниже: «с нас его черты и складки». Это обеспечивает семантическую связность строфы и увязывает между собой ее метафорические компоненты.

Остальные утверждения финала стихотворения зиждутся на узуальных конструкциях.

Фраза «Крепко тесное объятье» на поверхностном лексическом уровне основана на двух фраземах *крепкое объятье* и *тесное объятье*. Однако, учитывая подчеркнутые физиологические ощущения, можно предположить, что на глубинном уровне строка соотносится с переносным значением слова *тиски* из конструкции *тиски X-а* ('то, что стесняет, сковывает, лишает свободы'; ср. *тиски времени*; *тиски нужды*; *тиски цензуры*).

Строка «Глубока его печать», конечно, перифраз идиомы *печать времени*. Близкая к ней коллокация *черта (примета) времени* частично проступит ниже в синтагме «черты и складки».

Но самое неожиданное в метафорическом ряду последней строфы — это использование оборота из уголовно-правового дискурса *взять (снять) отпечатки пальцев*. Хотя это выражение приводится в сравнительной конструкции, на мой взгляд, его употребление без каких-либо изменений вскрывает логику всего текста.

Восстановим «сухой остаток» строфы: 'время это не декорация, а кожа; на нас всех наше время оставило свою печать; оставленные на нас черты времени можно взять как отпечатки пальцев'. Финал, таким образом, предлагает развернутую телесную метафору, в которой абстрактные черты времени становятся индивидуальными отличительными чертами субъекта, соотносенными с его потенциальным уголовно-правовым статусом. Утверждая одно, финальная строфа метафорически проговаривает совсем другое: вместо, например, будущего историка, изучающего черты и приметы времени, агентом внимания к субъекту оказывается власть,

и в этом плане весьма показательно, что этот агент остается неназванной безличной силой.

Развернутая биополитическая метафора, в рамках которой соединяются утверждения «время — кожа» и пассаж о возможности взять отпечатки пальцев, подчеркивает, на мой взгляд, глубинное ощущение исторической пассивности субъекта текста. Здесь стоит обратить внимание на еще один возможный идиоматический эффект. Утверждение «время — кожа» в соседстве с устойчивым оборотом *взять (снять) отпечатки пальцев* может активизировать еще одну идиому: *снять кожу* в силу вариативности глагола *взять/снять* в уголовно-правовом речении. Если это верно, то, конечно, оборот *снять кожу* оказывается одним из глубинных мотиваторов строфы и придает всему финалу дополнительный, хотя и смутно осознаваемый, ужасающий ореол телесного насилия со стороны государства.

Согласно ассоциативному плану последней строфы, любое политическое действие — тема, текстом обходящаяся, — неизбежно ведет к реакции со стороны властей (ассоциативная тема ареста и, возможно, насилия). В свете этой неявной, случайно проговоренной угрозы становится понятнее и устройство риторики текста: она не просто избегает острых тем, но запутывает сама себя в разных уровнях аргументации, подменяя и передергивая утверждения. Субъект стихотворения готов абстрактно рассуждать об эмблематичных страшных временах Ивана Грозного или эпидемии чумы, но старательно вытесняет недавнее страшное прошлое, которое, однако, возвращается «с черного хода» — в эффектном сравнительном обороте. Пассивность субъекта, убеждающего не столько собеседника, сколько самого себя в том, что настоящее время не такое уж плохое и в чем-то даже лучше прошлых эпох, объясняется не философией истории или размышлениями о проблеме свободы выбора, а коллективной травмой недавнего прошлого.

Отсюда — понимание существования во времени как биологического существования, в рамках которого можно только *жить и умирать*, — не просто любой поступок видится обреченным на провал и влечет неизбежное возмездие со стороны государства, но даже сама фантазия о том, что конфигурация повседневных практик, ценностей, типов коммуникации и проч. может быть принципиально иной, осуждается как «пошлость». Между тем само желание «поменять» время, как бы ни было оно наивно в повседневной жизни, всегда содержит зерно социальной критики современности, а воображение, как известно, является двигателем социальных изменений [Рансьер 2018].

Афоризм Талейрана гласит: «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли». К стихам он применяется редко, но в данном случае это можно сделать. Стихотворение «Времена не выбирают...» начинается с мастерского

парадоксального утверждения, претендующего на универсальность, но сразу же переводит его в разряд относительных аргументов в длинной цепочке доводов о приемлемости настоящего времени. Стоит признать, что, если бы стихотворение осталось двустихием, его смысловая провокационность была бы более сильной. В этом смысле две строки, ушедшие «в народ» и бытующие отдельно от всего стихотворения, то есть двустихие как текст цитатного фонда, более парадоксальное высказывание нежели текст целиком, который размывает семантическую неожиданность начальной сентенции. Автономно существующие две строки при этом недвусмысленно выражают идею пассивности субъекта, однако лишают ее мотивировки, развернутой в целом стихотворении.

Разыгранная стихотворением риторика, во многом определенная использованием узуальных конструкций, в финале выдает сама себя: она обращается к последнему сравнению, которое, надо полагать, было задумано как точная деталь, но которое проявилось как точный политический слепок субъекта. Для него область политического, как и область поступка, оказывается почти полностью вытесненной, и в этом можно увидеть действие недавнего — а не давно прошедшего — травматического прошлого.

В конце концов, дело не в том, что субъект именно таким образом воспринимает эпоху и человека внутри нее, как и не в том, что он не предполагает какого-либо активного участия в истории, — темперамент и поведенческая система координат у всех людей разные. На мой взгляд, проблема заключается в том, что восприятие эпохи и отведенной человеку роли внутри нее *подаются как нормативные и универсальные*, и стихотворение последовательно эту универсальность и обязательную всеобщность пытается доказать, хотя и не достигает в этом успехов (во всяком случае, при внимательном рассмотрении его доводов). Во многом следуя за идиоматическим пластом языка, текст оказывается в зоне противоречий и смысловых зияний, чтобы в финале невольно проговориться и выдать глубинную мотивировку своей риторики.

Сама открытость стихотворения объяснению, основанному на идее манифестируемых смыслов и бессознательных, случайно проговоренных мыслей, на мой взгляд, свидетельствует о его весьма характерном устройстве: предпринятый анализ позволяет исключительно на имманентных основаниях квалифицировать стихотворение «Времена не выбирают...» как образец советской официальной поэзии.

Все эти сложно формализуемые смыслы стихотворения, несомненно, входят в рецептивный фон всего текста, а не только его первых строк и бессознательно нередко считываются как нечто справедливое до сих пор, поскольку череда сложных эпизодов российской истории не кончается.

Источники

Выжutowич В. Поэт Александр Кушнер: Разумеется, при Сталине мне бы не поздоровилось [Интервью] // Новая газета. 2016. 3 октября. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2016/10/03/poet-aleksandr-kushner-razumeetsia-pri-staline-mne-by-ne-pozdorovilos.html> (дата обращения: 05.02.2023).

Кушнер А. Голос. Л.: Советский писатель, 1978.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 05.02.2023).

Нотная летопись. М.: Книга, 1988. № 1.

Литература

Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 5. С. 68–95.

Красильникова Т., Успенский П. Поэтический язык Пастернака. «Сестра моя — жизнь» сквозь призму идиоматики. М.: Издательский дом ЯСК, 2021. 176 с.

Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2018. 128 с.

Успенский П., Файнберг В. К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. М.: НЛО, 2020. 360 с.

References

Gronas M. [Nameless recognizable, or Literary canon under the microscope]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2001, no. 5, pp. 68–95. (In Russ.)

Krasilnikova T., Uspenskij P. *Poeticheskii yazyk Pasternaka. "Sestra moyā — zhizn'" skvoz' prizmu idiomatiki* [The Pasternak's poetic language. "My sister — life" through the prism of idioms]. Moscow, Publ. House YASK, 2021. 176 p.

Rancière J. *Le Spectateur émancipé*. La Fabrique, 2008. 145 p.

Uspenskij P., Faynberg V. *K russkoi rechi: Idiomatika i semantika poeticheskogo yazyka O. Mandel'shtama* [To Russian speech: Idiomatics and semantics of the O. Mandelstam's poetic language]. Moscow, Novoe Literaturnoe Obozrenie Publ., 2020. 360 p.

Трансмутация как инструмент интерпретации драматического текста

Чуреева Ольга Александровна, Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского (Россия, Симферополь), au-room-ua@mail.ru

DOI: 10.31857/S013161170026405-4

АННОТАЦИЯ: В настоящей статье рассматривается влияние транскодирования на интерпретацию текста. Исследование предпринято на материале пьесы А. П. Чехова «Чайка» с применением методов сопоставительного и функционального анализа. В работе отражены размышления о механизмах процесса трансмутации. Анализируется характер взаимодействия вербальных и невербальных знаков как кодов различной природы. Устанавливается, что способы переключения кода могут быть вписаны в несколько базовых алгоритмов трансформации: 1) замещение (вербальный знак замещается невербальным), 2) сопровождение (вербальный знак сопровождается невербальным), 3) дополнение (вербальный знак дополняется невербальным). Возможности трансмутации рассматриваются на примерах интерсемиотического перевода некоторых реплик и сценических указаний. Так, отмечается, что разнообразие театральные знаки (акустические, просодические, кинесические, проксемические, световые, цветовые, ольфакторные и др.) актуализируют, уточняют, усиливают или нивелируют значение вербальных высказываний. Они встраиваются в структуру театрального текста одновременно или последовательно, оказывая воздействие на сознание реципиента, формируя определенный образ. Предпринятое исследование тесно связано с осмыслением вопроса о переводимости знаков. Излагается мысль о том, что адекватный перевод, оказывающий то же воздействие на реципиента, что и оригинал, обеспечивает

потенциальную возможность обратного перевода невербальных знаков в словесные, так как процесс транскодирования является обратимым. Подчеркивается, что трансмутация позволяет интерпретировать текст драматического произведения с учетом не только языковой, но и внеязыковой действительности. Корректная передача авторского сообщения при интерсемиотическом переводе возможна при условии достижения функциональной эквивалентности знаков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансмутация, интерсемиотический перевод, переводимость, обратимость, интерпретация текста, невербальные знаки, код, драматический текст

для цитирования: Чуреева О. А. Трансмутация как инструмент интерпретации драматического текста // Русская речь. 2023. № 3. С. 117–127. DOI: 10.31857/S013161170026405-4.

The Language of Fiction

Transmutation as a Tool of Dramatic Text Interpretation

Olga A. Chureyeva, V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Russia, Simferopol), au-room-ua@mail.ru

ABSTRACT: This paper studies the impact of transcoding on the text interpretation. The study, based on the text material of Chekhov's play "The Seagull", offers reflections on challenges of transmutation process. The paper analyzes the interaction between verbal and non-verbal signs as codes of different nature. It is pointed out, that modes of code switching could fit into several focal algorithms of transformation: a substitution (a verbal sign replaces with non-verbal one), accompanying (a verbal sign is accompanied by a non-verbal one), addition (a verbal sign is supplemented by a non-verbal one). The research shows that a various theatrical signs (acoustic, visual, olfactory, kinetic, proxemic, involving light or color, etc.) actualize, clarify, enhance or neutralize the meaning of verbal utterances. They can be

embedded in the theatrical text structure simultaneously or sequentially. The study is also concerned with the problem of translatability of signs. The article suggests that an adequate translation, which has the same effect on the recipient as the original text, provides a potential opportunity for the reverse translation of non-verbal signs into verbal ones, since the transcoding process is reversible. It is emphasized that transmutation allows us to interpret the text of a dramatic work, taking into account not only linguistic, but also extralinguistic reality. The author sets out to prove that the adequate intersemiotic translation can be obtained in case the functional sign equivalence is maintained.

KEYWORDS: transmutation, intersemiotic translation, translatability, reversibility, text interpretation, non-verbal signs, code, dramatic text

FOR CITATION: Chureyeva O. A. Transmutation as a Tool of Dramatic Text Interpretation. *Russian Speech = Russkaya Rech'*. 2023. No. 3. Pp. 117–127. DOI: 10.31857/S013161170026405-4.

Театральный текст как результат перевода знаков графического письма в знаки других семиотических систем является иллюстрацией процесса сигнификации, который, по Пирсу, состоит в переводе знака в другую систему знаков [Pierce 1931–1958: 127]. Р. О. Якобсон называет «переводимость» знака в другую систему знаков одним из его основных свойств [Якобсон 1996: 217]. Следовательно, любой знак предназначен для того, чтобы быть переведенным. Вопрос о переводимости знаков одной системы в знаки другой системы, связанный с проблемой эквивалентности знаков и сходства/различия производимого воздействия, неоднократно становился предметом размышлений и обсуждений в научном сообществе (Умберто Эко [Эко 2015], Омар Калабрезе [Calabrese 2000], Дороти Кенни [Kenny 1998], Никола Дузи [Dusi 2015], Альгирдас Жюльен Греймас [Greimas 1989] и др.).

Переводимость знака обуславливает возможность переключения кодов, что предполагает наличие его функциональных синонимов, принадлежащих к различным знаковым системам, различным языкам (в широком понимании), использование которых должно способствовать «приближению» текста к «читателю». Смена кода текста является инструментом его интерпретации. Данный тезис соотносится с утверждением Р. О. Якобсона, согласно которому «наука о языке не может интерпретировать ни одного

лингвистического явления без перевода его знаков в другие знаки той же системы или в знаки другой системы» [Якобсон 1978: 20]. Код понимается как «система символов, которая, согласно предварительной договоренности, предназначена для представления и передачи информации из пункта источника к пункту назначения», т. е. от автора сообщения к реципиенту [Rey-Debove 1979: 28]. Процесс смены кодов есть трансмутация, то есть семиотическая трансформация, подразумевающая изменение плана означающего. Так, при переводе драматического текста на язык сцены графические знаки естественного языка трансформируются в знаки различной природы, содержание словесного текста может быть передано при помощи создания визуального или акустического образа средствами кинесических, проксемических, шумовых, световых, художественных, ольфакторных и других знаков семиотических систем. Попытки описания и типологизации таких знаков предпринимались учеными-семиологами (Т. Ковзан, Р. Барт, П. Богатырев, П. Пави, Л. Альтюссер и др.), и сегодня такая работа не исключается из круга задач исследователей (Г. Крейдлин, Е. Илова). Результаты трудов ученых позволяют составить более внятное представление о многообразии театральных знаков, однако не решают проблемы осмысления характера отношений, в которые семиотические системы вступают в процессе осуществления интерсемиотического перевода, когда различные знаки эмитируются одновременно, формируя единый многослойный смысловой конструкт. Проблема изучения механизмов трансмутации остается актуальным предметом дискуссий в научном сообществе.

Вопрос о трансформации текста драматического произведения в театральный текст представляет большой интерес для исследователей, так как сценическая конкретизация художественного текста включает в себе возможность обнаружения и экспликации различных элементов и смысловых пластов, заложенных автором на уровне текста, паратекста и подтекста, и смена кода является действенным инструментом такой герменевтической операции.

В настоящей работе механизм интерпретации текста посредством смены кода исследуется на материале драматического произведения А. П. Чехова «Чайка» и вариантов интерсемиотического перевода пьесы на язык сцены (существующих и потенциально возможных) с использованием методов описания, сопоставительного и функционального анализа. Способы переключения кода условно могут быть вписаны в несколько базовых алгоритмов трансформации: 1) замещение (вербальный знак замещается невербальным), 2) сопровождение (вербальный знак сопровождается невербальным), 3) дополнение (вербальный знак дополняется невербальным).

Алгоритм замещения, субституции знаков, в чистом виде применяется в ситуации перевода текста пьесы на язык хореографии. Так, в балетных постановках Дж. Ноймайера, Б. Эйфмана, М. Плисецкой словесный текст трансформируется в кинесический и проксемический, вербальные высказывания преобразуются в пластические, лексемы — в кинемы.

Алгоритм сопровождения является базовым в механизме взаимодействия словесного языка и языка жестов. Так, согласие может сопровождаться утвердительным кивком головы, отрицательным или неопределенным, если актуализируются коннотативные смыслы; эмоциональные и аффективные вербальные реакции сопровождаются экспрессивными жестами; перформативные реплики (например, *Я уйду*) — соответствующей интенцией или отсутствием ожидаемой интенции. Сопровождающие жесты не всегда соответствуют словесному тексту, усиливая значение сказанного, но могут вступать в отношения оппозиции с вербальной фразой, придавая ей совершенно иной, противоположный смысл.

Дополняющие знаки выполняют функцию корректировки и актуализации смысла сказанного. Они могут предшествовать вербальному знаку (формируя ожидание), сопутствовать ему (подтверждая ожидание), следовать за ним (уточняя понимание). Иными словами, дополнение позволяет акцентуировать то, что выражено вербально, и усилить воздействие вербального сообщения.

Таким образом, словесные высказывания могут дополняться различными невербальными знаками: просодическими (интонация, тембр, регистр), кинесическими (мимика, жесты, движения), проксемическими (положение тела в пространстве, расстояние), акустическими (звук, шум), ольфакторными (запах), эфемерными (дым, пар, движение струи воздуха) и др.

В свете обсуждаемой проблемы представляется целесообразным подчеркнуть тот факт, что при интерсемиотическом переводе знаки различных семиотических систем включаются в одну сложную систему, драйвером которой является механизм семиозиса. В работе этого механизма участвуют вербальные и невербальные знаки, каждый из которых формирует свой фрагмент общей картины, целостного восприятия сообщения, подразумевающего учет ядерной и фоновой информации, всего контекста художественного произведения.

Если в пьесе «Чайка» А. П. Чехова актриса Аркадина говорит, что она держит себя в струне, то в спектакле эта информация не только эксплицируется вербально, но также читается по осанке и походке актрисы, по любым движениям и производимым героиней действиям, по ее апломбу. Кроме того, смысл выражения *Держу себя в струне* может быть подчеркнут за счет буквального перевода знаков системы естественного языка

в знаки системы искусственного языка: при помощи соответствующего костюма, например корсета, каркасом которого являются струны (решение, реализованное в спектакле «Чайка» П. Карташева). Корсет держит форму, обеспечивает идеальную осанку и моделирует фигуру, но, как правило, такой каркас непрост в ношении; он сжимает внутренние органы, затрудняет дыхание и требует от того, кто выбрал этот аксессуар, определенного стиля поведения и способа мышления. Аркадина в тексте пьесы на протяжении всего действия демонстрирует свою подтянутость, энергичность, собранность, не позволяет себе расслабляться, что вербально выражено в реплике *Держу себя в струне*. В спектакле Карташева данная реплика перекодирована: словесный знак конвертирован в знак костюма, дополнен кинесическими и проксемическими знаками.

Таким образом, несмотря на то, что текст реплики героиней не произносится, становится совершенно очевидно, что Аркадина действительно *оттого и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые* [Чехов 1998: 116]. Это подчеркивается и комментарием Шамраева в адрес Аркадиной, сделанным по прошествии двух лет с момента начала событий: *Светлая кофточка, живость... грация...* [Чехов 1998: 142]. Сема исключительной эффектности Аркадиной и декларируемой самодисциплины усиливается за счет того, что только исполнительница роли маститой актрисы затянута в корсет, в то время как другие актеры одеты в свободные черные и белые костюмы пижамного кроя.

Перекодирование может быть реализовано как на уровне авторского текста (реплик персонажей), так и на уровне авторского паратекста (сценических указаний).

В художественном драматическом произведении невербальные компоненты эксплицитно выражаются в виде сценических указаний, предназначенных для читателя (читателя-зрителя, читателя-постановщика и читателя-актера). Для обозначения служебного текста драматического произведения используются термины «паратекст» (П. Пави), «метатекст» (А. Вежбицкая). Текст, не предназначенный для вербальной экспликации на сцене и в то же время заключающий в себе возможность такой экспликации, содержит следующие компоненты: заглавие пьесы, список действующих лиц, интродуктивные ремарки (сеттинги), межрепликовые ремарки.

Авторские комментарии, развернутые или, напротив, скупые, выполняют металингвистическую функцию и служат своеобразным ориентиром для читателей и зрителей в воображаемом пространстве. При этом спектр возможных интерпретаций тем шире, чем короче ремарка. Так, самое частотное сценическое указание *Входит*, при помощи которого действующее лицо вводится в игру, может быть актуализировано

в сценических вариантах пьесы при помощи самых различных театральных знаков. Текст может быть произнесен со сцены или за сценой (вербальный знак), при этом интонация, тон, окраска, регистр голоса подскажет зрителю, кто именно входит и что ожидать от этого появления (просодический знак). О приближении нового или знакомого действующего лица может сообщить запах, например запах табака, серы, бензина или определенного парфюма (ольфакторный знак). Персонаж может выйти из-за кулис, из зрительного зала, из фойе; он может оказаться на сцене внезапно или, наоборот, появляться постепенно (сначала зрители видят только голову, только кисти рук, только ноги, предмет костюма или аксессуар) в зависимости от реализуемых задач, при этом ритмический рисунок и характер движений, походки, жестов, поворотов головы наполнит нейтральную ремарку конкретным содержанием (кинесический знак). На совершаемое действие и его характер может также указывать звук приближающихся шагов или голоса, звук открывающейся двери или поворачивающегося в замке ключа, скрип половиц, покашливание, грохот падающих предметов и возня за сценой и т. д. (акустический, шумовой знак), внезапное выключение и включение света или, наоборот, постепенное приближение огонька (световой знак), при этом сам актер на сцену может и не выходить: траекторию его движения обозначит луч прожектора, голос за кадром декламирует словесный текст, теневая проекция передаст информацию о положении тела в пространстве, позе, жестах, окружающие звуки создадут атмосферу определенной драматической ситуации. Все эти знаки могут вплестаться в театральный текст одновременно или последовательно, создавая необходимый образ спектакля в реальном времени и в реальном пространстве.

Рассмотрим возможности трансмутации на примере еще одной пространственной односложной ремарки *Садятся*, которая предназначена для перевода из плоскости линейной манифестации в плоскость пространственного языка. Данное сценическое указание используется для обозначения обязательности совершения этого действия в указанный момент развертывания событий. Драматург не сопровождает каждую фразу своего произведения указаниями относительно движения персонажей, их жестов, эмоций и прибегает к таким комментариям только тогда, когда считает нужным обратить внимание на что-то, подсказать решение сцены. Однако даже вполне определенное авторское требование оказывается не вполне определенным и оставляет поле для различных вариантов интерпретации. Глагол как грамматическая единица языка должен быть трансформирован в грамматическую единицу действия, которая включает в себе конфигурацию различных знаков: кинесических (движения, перемещения, смена положения тела, жесты), проксемических

(дистанция между актантами, между актантами и объектами сценического пространства, между актантами и зрителями и т. д.), световых (освещение/затемнение, переключение софитов) и т. д. Лексическое значение слова «*садятся*» предписывает участникам необходимость соответствующим образом изменить положение тела в пространстве, а грамматическое значение указывает на то, что это действие одновременно совершается двумя или более людьми. Автор драматического текста, принимая во внимание условность сценической ситуации, не детализирует инструкции и оставляет пространство для конкретизации. Авторы сценического текста принимают решение о способе трансмутации, исходя из драматической ситуации, которая разворачивается в пьесе, следуя за логикой текста или реализуя собственные интенции. Интерсемиотический перевод будет зависеть также от стиля и жанра сценического произведения, от условий его представления. Каким именно образом будет организована мизансцена, решают интерпретаторы (создатели спектакля). Стремясь выбрать наиболее подходящий способ экспликации ремарки, автор театрального текста должен учесть дистрибутивные связи в пределах линейной манифестации (предшествующую и последующую реплики) и понять, на что именно указывает ремарка: на простую смену положения тела в пространстве, на выбор комфортных проксемических условий для важного разговора, на следование чьему-то указанию или приглашению, на невозможность пребывания в вертикальном положении (например, из-за слишком низкого свода, физической усталости или эмоционального истощения). Так, например, межрепликовая ремарка *Садятся* появляется в самом начале пьесы А. П. Чехова «Чайка» между репликами Маши и Медведенко, первыми героями, с которыми знакомятся зрители.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? (В раздумье). Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю только двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура.

Садятся.

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив [Чехов 1998: 101].

Данная ремарка зачастую игнорируется постановщиками пьесы, однако, на наш взгляд, сценическое указание А. П. Чехова выполняет важную регулятивную функцию, управляет ритмом действия, его модусом. Согласно информации, эксплицированной в интродуктивной ремарке, действующие лица, беседуя, возвращаются с прогулки и направляются

к месту, где расположена *эстрада, наскоро сколоченная для домашнего спектакля*, приготовления к которому еще не завершены. Вероятно, прогулка и появление у эстрады говорят об ожидании героями начала готовящегося представления. Очевидно, что Маша и Медведенко пришли рано и ожидание продлится еще какое-то время. Гипотетически герои пьесы могли это время проводить как угодно (уходить друг от друга и возвращаться, танцевать, наблюдать за подготовкой эстрады и т.д.), и во всех этих случаях их диалог был бы разным. Но Чехов подчеркивает, что герои *салятся*, он помещает их в своеобразный зал ожидания, условия, подходящие для спокойной, неторопливой беседы. По указанию автора, герои в конкретный момент диалога одновременно садятся, а как именно производится это действие, интерпретаторам предстоит решить в зависимости от того, какой именно аспект нужно актуализировать. Так, например, отдаленность героев друг от друга, взаимное непонимание, подчеркивается, если герои занимают разные стулья на большом расстоянии друг от друга. Отношение персонажей друг к другу однозначно читается, если Медведенко развернут в сторону Маши, а Маша — в противоположную. Равнодушие (*индифферентизм*) Маши и аффектацию Медведенко можно продемонстрировать посредством акцентирования статичности первой (неподвижная поза, взгляд перед собой, медлительные жесты) и динамичности второго (ерзанье на месте, активная жестикуляция, вскакивание и намерение куда-то идти).

Сценическое указание (краткое или развернутое) может быть переведено на язык сцены как эстетическое действие (каллиграмма), как символическое действие (ритуал), как физическое действие, имитация (*мимесис*).

Ремарка А. П. Чехова *Направо за сценой выстрел; все вздрагивают* представляет собой указание на событие, объяснение которого содержится в реплике Дорна *Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...* [Чехов 1998: 151]. В спектакле П. Карташева вербальные театральные знаки (словесный текст и паратекст) замещаются невербальными: шумовыми (звук одиночного хлопка), ритмическими (чередование пауз и действий), кинесическими (жесты, движения) и др. Треплев стреляется не за сценой, а на глазах у зрителей, и, несмотря на то, что все слышат финальный резкий хлопок (Треплев ударяет ладонью о ладонь), герой продолжает стоять на сцене; после некоторой паузы за первым хлопком следует второй, третий, хлопать начинают другие участники спектакля. Таким образом, «выстрел» трансформируется в аплодисменты (в знак окончания игры), которые постепенно гармонизируются и создают единый ритмический рисунок. Одинокий сценический хлопок Треплева является простым физическим действием (единицей пластического языка),

которое в данном контексте указывает на окончание жизни героя в этой условной реальности и на конец игры.

Ремарки свободно конвертируются в кинесические знаки (слово замещается действием), акустические знаки (слово произносится за сценой или со сцены), в графические знаки (графический образ слова демонстрируется на мультимедийном экране, на табло, на табличке, на вывеске).

Итак, интерпретация текста в отличие от собственно перевода подразумевает обращение к внеязыковой действительности, подключение к другим семиотическим системам и выбор соответствующих инструментов для углубленного чтения. Трансмутация — это перевод не только и не столько того, что словесно выражено в тексте, но и того, что содержится в нем имплицитно. Использование невербальных кодов по отношению к вербальному коду может осуществляться с применением алгоритмов замещения, сопровождения или дополнения. В зависимости от цели интерпретатора осуществляется выбор того или иного комплекса вербальных и невербальных средств. Интерпретацию оригинала в пользу авторской интенции можно назвать конкретизацией текста, в пользу интенции интерпретатора — манипуляцией. Степень соответствия интерсемиотического перевода исходному тексту может быть определена при обратном переводе театральных знаков в графические, так как процесс транскodирования является обратимым. Результат трансмутации может считаться успешным при достижении эффекта функциональной эквивалентности, которая состоит в соответствии реакции получателя текста перевода реакции получателя текста оригинала. Под реакцией получателя понимается восприятие денотативного, коннотативного, прагматического значений высказывания и ответ сознания реципиента на полученный импульс.

Литература

- Чехов А. П. Избранное. М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. С. 100–151.
- Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. М.: АСТ: Corpus, 2015. 736 с.
- Якобсон Р. О. О лингвистических аспектах перевода. М., 1978. С. 16–24.
- Якобсон Р. О. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996. С. 248.
- Calabrese O. Lo strano caso dell'equivalenza imperfetta (modeste osservazioni sulla traduzione intersemiotica // *Versus*. 2000, № 85–87. P 101–120.
- Dusi N. Intersemiotic translation: Theories, problems, analysis // *Semiotica*. De Gruyter Mouton, 2015. P. 181–205.
- Greimas A. J. Figurative semiotics and the semiotics of the plastic arts // *New Literary History*. 1989. № 20 (3). P. 627–649.

- Kenny D. Equivalence // *Routledge encyclopedia of translation studies*. Routledge, 2009. P. 96–99.
- Pierce C. S. *Collected papers*. Vol. IV. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931–1958. 588 p.
- Rey-Debove J. *Lexique sémiotique*. Paris, PUF, 1979. 156 p.

References

- Calabrese O. Lo strano caso dell'equivalenza imperfetta (modeste osservazioni sulla traduzione intersemiotica). *Versus*, 2000, no. 85–87, pp. 101–120.
- Chekhov A. P. *Izbrannoe* [Selected works]. Moscow, Eksmo-press Publ., 1998, pp. 100–151. (In Russ.)
- Dusi N. Intersemiotic translation: Theories, problems, analysis. *Semiotica*. De Gruyter Mouton, 2015, pp. 181–205.
- Eco U. *Skazat' pochti to zhe samoe. Opyty o perevode* [To say almost the same. Experiences in translation]. Moscow, AST: Corpus Publ., 2015. 736 p. (In Russ.)
- Greimas A. J. Figurative semiotics and the semiotics of the plastic arts. *New Literary History*, 1989, no. 20 (3), pp. 627–649. (In Eng.)
- Jakobson R. O. *O lingvisticheskikh aspektakh perevoda* [On linguistic aspects of translation]. Moscow, 1978, pp. 16–24. (In Russ.)
- Jakobson R. O. *Yazyk i bessoznatel'noe* [Language and the unconscious]. Moscow, Gnozis Publ., 1996. 248 p.
- Kenny D. Equivalence. *Routledge encyclopedia of translation studies*. Routledge, 2009, pp. 96–99. (In French)
- Pierce C. S. *Collected papers*. Vol. IV. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931–1958. 588 p.
- Rey-Debove J. *Lexique sémiotique*. Paris, PUF Publ., 1979. 156 p.

Русская речь

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

Оригинал-макет подготовлен *И. Барановым, И. Мустаевым*

Зав. редакцией *О. В. Антонова*

Редакторы *А. В. Занадворова, М. А. Пузина*

Корректор *В. Л. Цумарева*

Верстка *С. В. Родионовой*

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
редакция журнала «Русская речь»,
тел.: +7 495 637-27-35, e-mail: rus-rech@mail.ru

Подписано к печати 12.06.23 г.

Дата выхода в свет 27.06.23 г.

Формат 60×88 ¹/₁₆

Уч.-изд. л. 10,4

Тираж 175 экз.

Зак. 17/За

Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛИ:

Российская академия наук

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

ИЗДАТЕЛЬ:

Российская академия наук

119071, Москва, Ленинский пр-кт, д. 14

20 экземпляров распространяются бесплатно

Исполнитель по контракту № 4У-ЭА-131-22

ООО «Интеграция: Образование и Наука»

105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1, пом. 1314

Отпечатано в ООО «Институт информационных технологий»

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС 77-82889

от 14.03.2022 г.

Адрес типографии: 170021, Тверская область, г. Тверь, Дачная улица, дом 33, офис 1

16+